84(2Р5)7952
С 34

СИБИРЬ

1 90

А. Турик.
Трезвость: борьба за дальних и ближних

В. Жемчужников.
Плач по красавице Ангаре

Иркутская летопись


Ж 69546

84(2=Рус)7,95
С34



1'90

Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

Основан в 1930 году

№ 695746

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

Редакционная коллегия:

В. В. КОЗЛОВ (гл. редактор)
Ю. И. БУРЫКИН
А. Г. БАЙБОРОДИН
М. Е. ВИШНЯКОВ
С. Б. КИТАЙСКИЙ
Е. Е. КУРЕННОЙ
Б. Ф. ЛАПИН,
В. В. СИДОРЕНКО
Е. А. СУВОРОВ
Н. С. ТЕНДИТНИК
Р. В. ФИЛИППОВ

ISSN 0132-6740

© Восточно-Сибирское книжное издательство, 1990



Иван Комлев

КОВЫЛЬ

ПОВЕСТЬ*

Глава 1

К ноябрю сорок третьего, когда поставили под разгрузку последнюю баржу, от Сережки остались одни глаза. Глаза его смотрели из-под большого помятого козырька фуражки с терпеливой тоской заезженной старой лошади, которая давно уже не боится ни окрика, ни кнута и тянет свой воз лишь по привычке.

На тонкую шею Сережки Узлова наделось просторное потное ярмо работы, чтобы он вместе с народом удерживал тыл и помогал фронту, который трещал и надсажался под тяжким гнетом войны.

Сережку уже не радовало, что заканчивается срок его работы и, как только последнее обледенелое бревно окажется на берегу, лейтенант Вахрамеев подпишет справку и отпустит домой к матери, к Нюрке с Мишуком.

Как они там? Всего лишь одно письмо получил он из родной деревни за три месяца. Мать спрашивала о здоровье, как его кормят, тут и просила не надрываться, беречь себя, как будто бы есть на баржах специальные легкие бревна для Сережки — потоньше и покороче.

О своей и деревенской жизни она писала скупо: «У нас пока все живые, а кто по деревне помер, потом сам увидишь».

Ждановка — небольшая деревня, всех знает Сережка, но оттого, что кто-то там умер и — по невнятному намеку-умолчанию матери — человек ему близкий, похоже не один, в душе у Сережки ничего не дрогнуло, не шевельнулось и тоски не прибавилось, будто изработался он и был заполнен усталостью до краев так, что ни для каких других чувств места в нем не осталось.

И то, что по-прежнему живут в голоде мать, сестра и братишка, тоже было ясно ему из скупости письма, но и это его почти не трогало: весь мир был голодным, и пуще всех он сам, Сережка. Котловое довольствие — тощие щи, в которых почиталось за счастье выловить картофелину, серый, словно вываляный в дорожной пыли, хрустящий на зубах хлеб, прошлогодняя квашеная капуста, изредка — каша; пища не восстанавливала затраченных сил, и к исходу третьего месяца самые крепкие и жизнерадостные девки в команде скисли и приуныли, исчерпав весь свой резерв, работали на износ; что уж говорить о худосочном Сережке.

В четырнадцать лет самое время расти и крепнуть, а для этого нужны еда и сон, но ни того, ни другого в достатке за два года войны ему не перепадало, зато работать приходилось вдоволь и даже много больше. Сережка мало рос, и рос и креп в нем внутри зверь, имя которому — голод. Голод ел Сережку и не давал расти. Ему казалось уже, что никогда и не было иначе, а довоенное сытое детство его — это из корот-

---

* Печатается с сокращениями.

ких полубредовых снов, отпущенных ему в промежутках между вечерней и утренней зорями.

Лишь однажды сон, приснившийся здесь, в городе, был цельным и ясным и вспоминался и хранился в Сережкиной душе как праздник.

...Трактор легко катил по полю, оставляя за собой широкую полосу скошенной травы. В кабине со снятыми дверками рядом с отцом сидел Сережка и всеми порами впитывал впечатления первого в том году сенокосного дня: необхватный простор степи, густую зелень трав, небо с редкими белесоватыми тающими на солнце облаками и жаворонка в вышине — трепещущего, замирающего от счастья. Восторженная песня его заглушена рокотом двигателя, но Сережке кажется, что он слышит ее.

Полдень. Отец повернул к колку, небольшому березовому лесу у дороги, остановил и заглушил трактор за полсотни шагов от него.

— Обедать, однако, пора, а?

Они прошли к нераспаханной полосе у леса, устроились среди полевых цветов и серебристых метелок ковыля. Это было любимое место отца. Отец сполоснул водой из бидончика лицо и руки, вытерся мягкой тряпицей, которую приготовила Сережкина мать им в поле, лег на спину, заложив руки под голову, смотрел в небо, пока Сережка готовил стол.

— О, окрошка! — обрадовался отец, будто все, что было у них на обед, ему в диковинку.

Неторопливо опростал миску, попросил добавки:

— Плесни еще, сынок.

Сережка быстро исполнил просьбу, лег на траву, подперев голову ладонями, смотрел, как ест отец; дождался, когда он управился с добавкой, подмигнул и сказал отдуваясь:

— Уф-ф! Хорошо: пузо дерет, а хмель не берет!

И они засмеялись, как заговорщики.

Потом наступила самая желанная минута: Сережка сидел, прислонившись к отцу, держал двумя руками его тяжелую ладонь, положив ее к себе на колени, задавал свои бесконечные вопросы — отчего Земля круглая, почему жук майский, за сколько лет можно дойти до Луны пешком... Отец отвечал, если знал ответ, а когда не знал, то, по обыкновению, придумывал на ходу какую-нибудь веселую байку. И только напоследок не пошутил. Сережка спросил:

— Пап, а почему это ковыль шелковистый такой и ласковый, а колючий? Вот,— выдернул перышко,— вишь, какое острое шильце, как маленькое копье!

— Не знаю,— задумчиво сказал отец и посмотрел на дорогу. Из деревни в их сторону мчался всадник. Отец перевел взгляд на светловолосую Сережкину голову, вздохнул: — Полегли, может быть, наши деды-прадеды от вражьих стрел или копий на этом месте или... в других краях, а в память о них растет ковыль.

В ту минуту они еще не знали, что уже началась война.

Сон этот — и не сон вовсе, а воспоминание того последнего часа, проведенного вместе с отцом,— привиделся Сережке в одну из первых городских ночей, как тревога за отца, от которого давно не было писем, и как надежда на светлый праздник...

Сон был вещий: отец тоже бредил в ту ночь своим полем — сидел на ковыльной поляне с сыном и обмирал от ужаса и бессилия; средь дыма и пыли наползали на них грохочущие чудовища, а они словно приросли к земле — ни убежать, ни спрятаться...

Они действительно были почти рядом: останавливался в ту ночь на вокзале поезд с ранеными, где в вагоне с тяжелыми лежал Сережкин отец.

Матери Сережка так и не ответил: ни времени, ни сил на письмо у него не оставалось. Единственную весточку о себе он отправил домой, давно, в первый день, когда лейтенант Вахрамеев привел их в дощатый сарай, превращенный с помощью двухэтажных нар в жилой барак, указал каждому место и сообщил адрес, по которому им будут приносить письма. Лейтенант и позаботился о том, чтобы Сережка отправил письмо: дал бумагу и карандаш, распорядился:

— Напиши немедленно.

По возрасту Вахрамеев годился Сережке в отцы, он знал, какая предстояла каторга — будет не до писем, и пожа-

жел Сережкину мать — она изведется, если не получит весточки от сына. И много еще чего знал уже не годный из-за ранения для боев лейтенант; на обожженной левой половине лица его немо и виновато смотрел на людей изувеченный глаз, вторая половина лица была как в мирное время круглой, живой и участливой, словно носил он перед собой не руку, пробитую снарядным осколком и оттого не разгибавшуюся в локте, а баюкал ляльку, доверенную ему на минутку счастливой мамашей.

Баржа была последней. Лед вот-вот должен был сковать поверхность реки, а где-то там, в нижнем течении, откуда доставляли лес, мороз уже накрыл ее пока еще податливым хрустким льдом.

Бревна, сбрасываемые с баржи в воду, быстро обволакивались ледяной пленкой, ускользали от багров, норовили сбросить с себя петли веревок. Бабы с руганью заарканивали их, под команду и натужный стон вытаскивали на берег бревно за бревном, откатывали дальше, громоздили в штабели.

Мужиков в команде было мало, все они работали на барже; ворочать лес в трюме — рискованно, нужна уверенность и сила, и особая сноровка; но и на барже преобладало бабье войско.

Сережка был единственным подростком в этой команде. Из Ждановки на лесозаготовки отправили по разнарядке пять человек: вдовую и бездетную Валентину Савинову, двух незамужних девок — Наталью и Аришку, деда Задорожного, конюха и Сережку. Сережку с бабами увезли в город на грузовике, дед Задорожный притрусил верхом, ведя в поводу вторую лошадь. В городе Сережку отделили от своих. Ведавший распределением «рабсилы» пожилой задерганный мужчина, увидев перед собой Сережку, чертыхнулся:

— Кого шлют, пся крев! — повернулся к изуродованному лейтенанту, к Вахрамееву: — Возьмешь? Мужик.

Что означало, наверное: «У тебя все же полегче, чем в лесу». Вахрамеев обреченно вздохнул — очень уж хилым был этот боец трудового фронта: четырнадцати лет Сережке на вид дать было нельзя, тянул он от силы на двенадцать. Но отказать Вахрамеев не мог, вопрос, обращенный к нему, это вовсе не вопрос, а распоряжение, которое он, человек военный, выполнять обязан.

Остальных деревенских из степной Ждановки, знакомых с тайгой только понаслышке, отправили дальше, в низовья реки, валить лес вместе с такими же девками, бабами и стариками и грузить его на баржи.

Работа выматывала людей до изнеможения. Каждая последующая баржа казалась им вместительнее предыдущей и изрыгала из своего чрева все более толстые — совершенно неподъемные бревна. Они тяжело плюхались в реку, разбрызгивая жгуче-холодную воду, неохотно подчинялись слабым человеческим потугам: двигались медленно, упирались тупыми безучастными мордами в заледенелую кромку берега.

Забереги на реке, там, где течение еще сопротивлялось морозу, были небольшими, но здесь, в затоне, тихая вода покорилась наступившим холодам, лед с каждым днем становился все толще и прочнее, срастался с песчаным берегом в единый бетонно-гудящий по утрам панцирь. За ночь ледок затягивал всю поверхность воды в затоне, бревна его ломали, и ледяное крошево, обильно сдобренное древесной корой, ядовито шурша, все неохотнее расставалось со своей добычей.

С наступлением холодов чувство голода у Сережки притупилось. Барак не отапливался, спасал лишь от ветра, тепло от дыхания людей удерживалось плохо; в обшарпанном тюфяке под Сережкой давно уже была не солома, а труха, вытертое суконное одеяло не создавало даже намека на уют, и, если бы рядом не было вплотную, таких же уставших тел, Сережка околел бы, наверное, в первую морозную ночь. Он мерз и потому вовсе не высыпался, утренний подъем казался ему пыткой, и он готов был пропустить завтрак, чтобы поспать еще полчаса. Но приходилось вставать вместе со всеми, надевать свой изодранный ватник, брать в руки тяжеленный багор — багор казался тяжелее вчерашнего; бегать по берегу или стоять на шат-

ком и скользком трапе, направляя бревна, ему становилось с каждым днем непосильнее.

Ныло и стонало от перенапряжения все тело, но больше всего доставалось рукам. Руки страдали не только от работы; на тыльной стороне их от воды и ветра поселились цыпки — грязно-красная кожа воспалилась и потрескалась, от малейшего прикосновения — жгучая боль; из-за цыпок Сережка в последние дни уже не умывался.

В этот, последний, день, он несколько раз ронял свое орудие в воду, к счастью, недалеко от берега, непривычная легкость — будто с него сваливалось бревно — выводила его из полузабытья, он вылавливал багор из ледяной каши за плавающий конец древка — некоторое время после окунания рук в воду нестерпимая боль удерживала его сознание ясным,— потом он снова впадал в полудрему, двигался и работал как лунатик.

Мыслей не было: о том, чтобы немного расслабиться и передохнуть, он не мечтал. Все люди вокруг трудились неустанно для победы, не жалели ни сил своих, ни здоровья. Неистощимое терпение и беспредельное упорство народа распространилось и на детей. Будто в плотном строю шагал Сережка, не мог он остановиться или замедлить свое движение, вместе со всеми делал то, что требовала война, пока был в нем способен жить и действовать хотя бы один мускул.

Но как бы туго ни было Сережке, он сознавал себя мужиком. Женщинам было хуже. Их не освобождали от работы, когда подступала бабья хвороба; летом хоть прилечь могли на берегу на минутку, когда становилось невмоготу, осенью — не ляжешь. Летом отходили, по необходимости, за крохотный глинистый мысок берега, наскоро плескались там и возвращались к работе, не обращая внимания на то, что речная волна выдавала их. Осенью же и обмыться было негде.

Когда в очередной раз, ступая по обледеневшему трапу, Сережка сходил на берег и упустил багор, а сам соскользнул в другую сторону, он не очнулся, не ощутил холода ледяной воды, не почувствовал чуть позже, как его ухватил за шкирку своей здоровой рукой лейтенант Вахрамеев и вынес на сушу.

Перед тем лейтенант помогал женщинам вытаскивать бревна. Он обматывал конец веревки вокруг ладони, побурлацки, через плечо, впрягался и тянул, надрывая жилы,— желал забрать всю работу на себя, и этим хоть немного облегчить тяжелую бабью долю.

С Сережки текло. Худые руки его с недетскими большими, натруженными работой кистями далеко высунулись из рукавов куцей телогрейки и мотались у самой земли, мокрые ботинки чертили по песку, оставляя за собой две темные неровные борозды,— тощий, похож он был на утопшего курчонка. Вахрамеев опустил его на свою шинель, которую он сбросил раньше, согревшись от работы.

— Уханькали мальца! — ахнула Параскева, высокая сухопарая женщина, которая орудовала багром у другого трапа. Она подошла, стащила с себя телогрейку, укрыла Сережку.— Эх ты, командир, в душу мать, сердца у тебя нет! Свово бы так не допустил.

Для связки предложений Параскева обычно вставляла крепкие мужицкие слова. На здоровой половине лица лейтенанта не было в тот момент добродушного выражения, на Сережку он смотрел с жалостью, после слов Параскевы на лице его появилась гримаса боли.

— Своего...— прохрипел он и осекся. Живы ли его дети, Вахрамеев не знал и никому о своей семье, что уже два года была под немцем, не рассказывал, чтобы нечаянным словом сомнения не опрокинулась его зыбкая надежда на благополучный исход.— Отнесите его в затишок.

Лейтенант вновь смотрел по-доброму.

— На кухню надо,— подошла другая женщина,— чтобы обсушился в тепле. Давай помогу.

Параскева молча отстранила ее, взяла жилистыми руками Сережку в охапку, вместе со своей телогрейкой, потащила к неказистому деревянному домику, возле которого стояли два больших закопченных котла, прошла во двор, в котором не было ворот, ногой распахнула дверь в сени; дверь в избу перед ней открыла хозяйка.

— Ульяна Тимофевна, прими работника.

Глава 2

Сережка не слышал, как его раздели донага и уложили на топчан к теплым камням печи, укрыли одеялом, а поверх одеяла набросили шубу; проспал он мертвецким сном и обед, и ужин и не видел, как уже в сумерках бабы всей толпой выволокли на берег последнее бревно, как убрали трапы, и небольшой дымный катерок утащил облегченную баржу в дальний угол затона, на зимнюю стоянку.

При свете коптилки Ульяна Тимофеевна поставила на стол большую глиняную миску с горячим казенным борщом, пригласила Сережку:

—Иди-ко, родимый, похлебай, согрей нутро, а потом картошек еще поедим. Ваши-то хлеба принесли вона сколь. И сахарин.

Хлеба было явно больше, чем причиталось Сережке за два раза, за обед и ужин; он сглотнул слюну, предложил старухе:

— Берите.

— Спасибо,— не стала отказываться она.— Мне редко приходится хлеб видать. Кабы не огород, давно бы на погост угодила. Но второй кусок не взяла и Сережке доесть хлеб не дала:

— Не все враз. Кухня-то ваша закрылась. Завтра суховьем получишь — говорили на два дня — и ступай домой. Вот,— протянула небольшой серый квадратик бумаги,— твоя провизия.

После ужина Сережка снова крепко уснул, как провалился в трюм бездонной баржи.

Назавтра в небольшом продскладе, с которого выдавали на кухню продукты для команды Вахрамеева, угрюмый кладовщик, глядя припухшими глазами куда-то мимо Сережкиного плеча, сказал скучным голосом:

— Где болтался вчера? Все пайки выданы. У меня отдельных запасов для тебя нет.

Сережка растерялся. Все, с кем он работал, разъехались или разошлись по домам, а как он будет добираться домой — неизвестно, навигация закончилась — до Ждановки по реке, говорили, больше сотни километров да еще в сторону два десятка наберется, а Сережка дальше соседней деревни, да и то с отцом, сроду и не бывал нигде. Нет, по реке и думать нечего, надо идти дорогой; ему представилось широкое заснеженное поле и путник, голодный и одинокий, уходит, уменьшается и, наконец, пропадает в просторе... Есть нечего: оставленный с вечера хлеб и сахарин он уничтожил утром.

— Что делать? — в тихом отчаянии прошептал Сережка.

На одутловатом лице ничего не дрогнуло, словно бы кладовщик не услышал Сережку и даже забыл о нем. Сережке стало так неуютно, так плохо, что он сгорбился, съежился и провалился бы сквозь землю, когда бы мог, или умер — тут же на месте.

— Сухари возьмешь? — вяло смилостивился кладовщик, будто бы заметил наконец просителя, разглядел, какой невзрачный человечишко перед ним, и как мало надо, чтобы избавиться от него.

Сережка кивнул, протянул кладовщику карточку. Тот долго пыхтел, отвернувшись к весам, стуча по ним маленькими гирьками, потом постелил на столешницу лоскуток помятой рыжей бумаги, опрокинул на нее жестяную тарелку с весов.

— Мыло, спички и сахарин возьмешь утром, если привезут; крупу, что значилась в карточке, двести граммов, кладовщик почему-то не упомянул.— Да не проспи, завтра последний день, закрывают. Талоны оставь у меня, будет надежнее: не потеряешь.

Голова у Сережки, хоть он и проспал почти сутки, тяжелая, мутная, соображала плохо. Кладовщик с настороженным взглядом ускользающих глаз чем-то ему не нравился и доверия не вызывал, но возразить ему Сережка не посмел, проследил только, как тот упрятал талоны в правый карман гимнастерки, взял бережно бумагу с сухарями, прижал к груди, чтобы не рассыпать крошки, медленно пошел к выходу.

Четыре больших сухаря, довесок и крошки. Сухари Сережка рассовал по карманам, довесок взял в руку, крошки аккуратно ссыпал в ладонь и отправил в рот.

Крошки слегка горчили. Посасывая

их, в смятении от неопределенности добрел до сарая, в котором провел он ночи трех пока что самых трудных в своей жизни месяцев, заглянул. По голым нарам гулял сквозняк — небольшое оконце с противоположной стороны, вделанное в стенку по случаю превращения сарая в барак, ощерилось разбитым почему-то стеклом, ветром в него забрасывало редкие снежинки, падавшие с неба. Тоскливо и жутко стало Сережке от пустоты и одиночества — будто все люди умерли, холод проник до самого сердца. Скрипнула дверь на ветру, словно каркнул ворон, Сережка вздрогнул, попятился, повернулся и побежал прочь.

Ноги привычной тропой привели его на берег. И здесь холодно, пусто и одиноко; только возле дальнего штабеля возчики нагружали лес на подводы, чтобы везти его к железной дороге, а за ними, выше по берегу, натруженно вжухала пилорама. Ветер дул с реки, вороны в поисках пищи косым лётом чертили по однотонному серому небу. Место, где Сережка проработал столько дней, стало незнакомым и чужим. Казалось даже, что кто-то враждебный таился за штабелями и, злорадно ухмыляясь, готовил ему новую кознь.

Поминутно оглядываясь, хоть он и понимал, что за бревнами никого не должно быть, старался вспомнить что-то важное, что он оставил на этом берегу, но так и не вспомнил.

Идти было некуда. Попроситься до утра к Ульяне Тимофеевне? А утром что?

Довесок кончился, рука тянулась взять другой, но с беспокойством и тревогой помнилась дорога: сухари даны ему не для того, чтобы он съел их в городе. Голодному путь не осилить, особенно теперь, когда с каждым часом становится холоднее. Хорошие бы рукавички ему, а то рукава у ватника стали совсем короткие. Ватник мать сшила три года назад, тогда, в новом, Сережка чувствовал себя счастливым богачом, обладателем самой прекрасной одежды, удобной и для игры, и для работы, которую он не променял бы даже на царскую шубу. Теперь короткий, узкий и рваный ватник не спасал от слабого ветра, а случись ночевать в поле, в нем околеешь.

Сережку неумолимо влекло к старухиному дому — озябшее тело просилось в тепло — он приблизился к нему, но войти не посмел, стоял и смотрел на то место, где совсем недавно была их кухня. Столы сорваны и исчезли, котлы увезены; снег уже начал укрывать черные пятна кострищ; люди оставили Сережку одного, а природа старалась спрятать следы их пребывания.

— Чего мерзнешь? — Ульяна Тимофеевна вышла на крылечко.— Иди, тебя лейтенант ждет.

Вахрамеев сидел у стола в шинели и в фуражке, шапки для зимнего времени у него еще не было. Он осмотрел своим здоровым глазом переступившего порог Сережку, рванье, в которое тот был одет, разбитые ботинки; огорченно двинул локтем изувеченной руки, будто ударил кого-то, кто нападал на него сзади, вздохнул:

— Как ты?

Лейтенант спрашивал с сочувствием, но Сережке казалось, что они уже разделены, как невидимой стенкой, неумолимой необходимостью уйти из этого дома и друг от друга, чтобы, может быть, не увидеться больше никогда. Язык у Сережки вдруг отяжелел, и он ничего не ответил, только пожал плечами. Что, мол, спрашивать? Не утонул, коли вытащили, и даже не заболел. Вахрамеев склонил голову, словно раздумывая, что спросить еще, но не спросил, сказал только:

— Возьми справку,— запустил руку под отворот шинели, достал из нагрудного кармана гимнастерки две бумажки, пальцами разделил их, протянул одну,— да не потеряй, а то не отчитаешься.

Без документа нельзя: заберут как беспризорника, а если повезет и не попадешься милиционеру, то в сельсовете без справки о том, что честно отработал свое, примут за дезертира. Доказывай после... Сережка повертел в руках небольшой свернутый вдвое листок, не зная, куда его спрятать, потом стащил с головы картуз, засунул документ под надорванную подкладку, но обратно свой убор не надел и так стоял, не подозревая, что вид у него таков, будто он ждет подаяния.

— Продукты получил? — привычно строго спросил лейтенант.

— Получил...— Сережка помедлил, решил, что командиру надо отвечать точнее,— сухари.

— И все?!

Сережка виновато промолчал. Желваки на скулах Вахрамеева сдвинулись и вздулись.

— Что говорит?

— Ничего. Завтра, может, привезут.

Лейтенант некоторое время смотрел в пол.

— Ну вот что,— сказал он после размышления,— где наш магазин — помнишь?

Сережка кивнул. Однажды он ходил туда, получал лейтенантский паек. От сладкого воспоминания у него заныло в желудке: лейтенант отдал тогда ему из пайка маленький плоский пакетик в красивой бумажной обертке и в блестящей хрусткой фольге, как оказалось, шоколадку. Сережка понятия о шоколаде не имел, в деревне у них не было магазина, в небольшой лавке водились лишь соль, спички, мыло и керосин. Отец привозил иногда из соседней деревни конфеты подушечки и пряники, но что бывает на свете такая немыслимая вкуснота, представить даже было невозможно.

Вахрамеев поднялся, протянул Сережке и вторую бумажку, которая все еще была у него в руке, свою продовольственную карточку, уже изрядно покромсанную ножницами.

— Пусть Настасья выдаст остатки. Так. Возьмешь себе.

Сережка широко раскрытыми глазами смотрел на лейтенанта Вахрамеева и не брал.

— Держи! Да не говори, что получаешь себе. Ты понял?

Сережка кивнул утвердительно, но ничего не понял. А как же лейтенант?

— Все! — голос Вахрамеева едва заметно дрогнул.— Простимся. Дай обниму.

Он шагнул к Сережке, прижал его голову к своей груди, коснулся жестким подбородком светлой вихрастой макушки; от шинели пахло табаком, потом и еще каким-то особыми, присущими только военным, запахами.

— Не поминай лихом,— негромко, совсем не по-командирски сказал лейтенант, словно прощения попросил, отстранился и быстро вышел в дверь.

Глазами, полными слез, посмотрел Сережка на старуху. Лицо Ульяны Тимофеевны было сурово, взгляд далекий, будто не было возле нее ни тощего заморенного Сережки, ни — только что — лейтенанта.

Сережка тихо повернулся и, с картузом в руке, вышел на улицу.

Мальчик, тебе чего надо здесь? — Настасья, заметив в магазине оборванца, готова была немедленно выставить за дверь, чтобы не спер чего-нибудь.

— Вот,— пересохшими губами сказал Сережка,— от лейтенанта.

— А! — вспомнила его Настасья,— ты от Николая Ивановича! Что же он не заходит? Ты скажи ему,— она убавила голос,— что Настя ждет.

Лицо у Настасьи круглое, голос сочный и чуточку нараспев,— «Краля! — мысленно обругал ее Сережка.— Разве такую надо лейтенанту Вахрамееву?!»

Он почему-то был уверен, что на этот раз продуктов от нее не получит, и не удивился, когда она сказала:

— Какая жалость — почти ничего нет!

И все-таки в душе у Сережки маленькая надежда таилась на самом донышке, и потому на отказ сердце у него нехорошо екнуло — все стало ему безразлично, как в последние холодные дни, Лучше бы его не вытаскивали из реки!

Настасья сновала зачем-то туда-сюда на небольшом пятачке и продолжала что-то наговаривать своим мягким певучим голосом; Сережка повернулся и пошел вон; медленно и осторожно пошел, стараясь не зацепить чего-нибудь: проход до самой двери был заставлен пустыми деревянными бочонками и грубо сколоченными ящиками. Он почувствовал вдруг, что в нем вместе с обидой и непрошеными слезами вскипело какое-со новое, неведомое ему ранее чувство — темное, злое, страшное, готовое от малейшего прикосновения взорваться яростью невиданной силы, как бомба, и разнести и самого Сережку, и все, что было вокруг.

— Погоди ты! — дошло до него, когда он уже был в дверях.— Вот чумной!

Она догнала его, повернула к себе.

Движение ее рук было сильным, но приятным; что-то материнское почудилось Сережке в ее грубоватом прикосновении — взрыва не произошло. Настасья подтолкнула его к прилавку, и он увидел на нем плоскую жестяную банку, блестящую, размером с блюдце, на ней несколько кусочков пиленого сахара, а рядом — совсем небольшой кулек с квадратиками печенья.

— Оголодал? — она сунула ему прямо в зубы один такой квадратик.—Похрусти. «Второй фронт».

Оказалось — галета.

— Пусть товарищ лейтенант завтра забежит. — Настасья заглянула Сережке в лицо, и он увидел в ее больших серозеленых глазах глубокую, как омут, тоску. Такие глаза, случалось, бывали у матери, когда она думала, что дети ее спят. — Карточка пусть у меня будет, я заранее отоварю или обменяю. Сумочки у тебя никакой нет?

Сережкино сердце перевернулось. Ему стало жаль Настасью, он подумал, что Вахрамеева, может быть, уже нет в городе, и чуть не ляпнул: «Лейтенант уезжает».

Но что-то случилось с ним — галета распухла в горле и помешала или полной уверенности в том, что лейтенанту назначено куда-то ехать, не было — он промолчал. И стыдно ему было своей вспышки; тогда, в миг озверения, сознание ему распорола мысль: самому добыть продуктов! Где и как он их возьмет, Сережка в ту минуту не представлял, но, что возьмет,— знал совершенно точно.

Низко склонив голову, Сережка достал из-за пазухи холщовую тряпицу, в которую когда-то мать завернула ему в дорогу припас: горбушку хлеба, луковицу, соль и ломтик сбереженного от глаз Нюрки и Мишука сала. Теперь он сам завернул в тряпицу банку, на которой было написано, что это сельдь маринованная тихоокеанская — неслыханная роскошь! — сахар и кулек с галетами. Он решил, как бы туго ему ни пришлось, продукты принести домой, в подарок матери: от самого начала войны ничего подобного в деревне даже не видели; мать как-то говорила, что селедка ей во сне снится.

Спрятал свое богатство под рубахой, поверх ватника подпоясался ремнем; кожаный брючный ремень — единственная добротная вещь, которая не износилась у Сережки — оставил ему отец, уходя на фронт.

Все. Делать в городе Сережке было больше нечего, он рассчитался с городом, а город, чем мог, отплатил ему.

Глава 3

Дорогу домой Сережка знал приблизительно. Главное — выбраться на другой конец города, а дальше — по тракту, которым их привезли, пока не увидишь в стороне большую деревню Семеновку — от нее до Ждановки недалеко, восемь километров.

Когда Сережка, путаясь в незнакомых улицах и переулках, миновал наконец железнодорожный вокзал, пересек пути, вышел на окраину и нашел тракт, он засомневался: день клонился к вечеру, стало еще холоднее, уходить от жилья было страшно.

Вспомнились разговоры о дезертирах, которые иногда объявляются в тылу — днями прячутся по лесам и балкам, а ночью выходят к жилью, чтобы раздобыть себе пищу и одежду; горе тому, кто окажется у них на пути!

Но хуже дезертиров — волки. Дезертиров мало, да и ловят их, а волков расплодилось много, и никто за ними не охотится. «Гитлеровские пособники»,— сказал о волках Назар Евсеич, председатель, когда ранней весной нашли колхозницы в поле, на том месте, где брали солому, два подшитых валенка со страшно торчащими из них обглоданными костями. Валенки признала старуха Бокова, она посылала их своей сестре, которая намеревалась уехать подальше от фронта, но так и не появилась в деревне и на письма перестала отвечать: уезжала от войны, а война, оказалось, всюду рыщет, только в другом обличье.

Сережка уже хотел было попроситься к кому-нибудь ночевать, остановился, осмотрелся. Дома стояли редко по улице, как в деревне, с такими же огородами, обнесенными жердяными изгородями, чтобы не заходила скотина, и с широкими по-деревенски дворами. Но ворота перед домами были непривычно вы-

сокими и прочными, закрытыми наглухо — людей не видно, будто они вымерли или попрятались от нежданных гостей. Сережке даже почудилось, что изза плотного забора следит за ним настороженный припухший глаз.

Раздраженно заурчал в животе голодный зверь. Надо идти, продуктов у него мало, и если двигаться только пешком, как сегодня, то не миновать ему просить милостыню. Случалось Сережке видеть нищенок, которые в поисках пропитания забредали в деревню за подаянием. Смотреть на них было почему-то стыдно; мать их, оказывается, знала по именам, суетливо-поспешно совала им вареную или сырую картошку — какая оказывалась под рукой, делилась и хлебом, если он был на столе.

Просить Сережка не умел. Да и не повернется язык, когда за пазухой целая банка селедки... «Ладно,— решил он,— может, машина какая подвезет или подвода». Пошел в поле быстро, чуть не бегом, стремясь скорее избавиться от возможности повернуть назад.

Милиция его в городе не останавливала, и на выходе поста не оказалось — проверять Сережкин документ было некому.

Один сухарь Сережка сгрыз еще днем, когда плутал по городу, ходьба требовала подкрепления сил — в одном месте видел трамвай, но сесть на него не решился; он начал невольно доставать из кармана другой сухарь, но перебарывал себя, прятал, а через некоторое время вновь обнаруживал его возле губ.

Ветерок дул в спину, снег почти перестал идти — зима впереди долгая, куда торопиться? — небо потихоньку яснело. Справа и слева от дороги медленно подавались назад редкие березовые колки; дорога прямиком уходили вдаль и терялась там. Припорошенная снегом земля скользила под ногами, выкручивала их, идти было трудно.

Никто по дороге не ездил, лишь когда на землю опустились сумерки, беспредельно уставшему Сережке попала навстречу полуразбитая полуторка, изрыгавшая дым и вонь. Как раз при встрече шофер включил единственную фару, которая почти ничего не осветила своим тусклым огнем.

Водитель недоуменно повернул голову в сторону Сережки, и ему стало совсем тоскливо, захотелось вернуться в город, но машина уже протарахтела мимо. Он прибавил шаг, насколько мог, и шел еще с час, пока совсем не стемнело, но никаких признаков жилья не было — ни огней, ни собачьего лая.

Небо очистилось полностью, на нем засияли звезды, но луна куда-то запропастилась. Все же снежок отражал слабый звездный свет, и можно было различить дорогу, поле, темные контуры колков по сторонам — и вдруг силуэт дома на фоне бледного горизонта — в той стороне, где закатилось солнце.

Сердце у Сережки брыкнуло, он рванулся вперед, оскользаясь и падая... Ночь обманула: дом оказался стогом пшеничной соломы. Сережка добрался до него, привалился спиной, сполз вниз и горестно всхлипнул от обиды: дальше идти сил у него не осталось.

Воздух был холоден и чист, как колодезная вода, и в нем постепенно и незаметно притупилось Сережкино горе; в груди вскоре, после того как он вышел из города, поселилась негромкая пугливая радость, которая помаленьку крепла, ширилась и росла и уводила все дальше и дальше: дышалось, как дома! Не было здесь ни чада заводских труб, ни автомобильного смрада, ни вони канализационного ручья, стекавшего в затон неподалеку от места выгрузки барж.

Была река, неторопливо катившая свои желтоватые воды в рыжих берегах; отец, босой, поощрительно улыбавшийся Сережке, впервые в своей жизни увидевшему такое огромное количество воды; и ласковая волна, пугавшая и манившая в глубину. Сережка забредал по колено в теплую воду, наклонялся, стараясь разглядеть дно, разбрызгивал воду руками, поворачивался к отцу и счастливо смеялся навстречу его радостным глазам...

Вода вдруг стала холоднее, Сережка попытался выйти на берег, но ноги его погрузились в песок и завязли в нем, волна поднялась большая и захлестывала все выше и выше и, наконец, захватила Сережку и поволокла. Онемев от хо-

лода и испуга, он пытался было кричать, но захлебнулся. И... пробудился.

Его колотило неудержимой мелкой дрожью, ноги и руки одеревенели; чтобы подняться, ему пришлось стать вначале на четвереньки. Ноги пронзила боль, только теперь Сережка понял, что плохой из него будет ходок: ступни сбиты в кровь. Приваливаясь к стогу, Сережка кое-как обошел его, перебрался на подветренную сторону, начал рыть в стогу нору.

С цыпками на руках это была пытка. Солома уже спрессовалась, выдергивалась с трудом и крохотными клочками. Негнущиеся пальцы от соприкосновения с настывшей соломой зашлись от холода и боли и совсем утратили силу. Сережка скулил от отчаяния, колотил ладонями по коленям, по бокам, дул на руки, бережно прятал их под мышками и, откидываясь спиной на стог, замирал.

И снова наплывал на него морок. Сквозь пелену Сережка чувствовал на себе чей-то испытующий взгляд. Кто-то недобрый насмехался: слабо умереть? Слабо! Толкал в спину, подвигал во тьму — сдохни, и без тебя жрать нечего! Но исчезал, расплывался, когда Сережка пытался разглядеть его, того, кому принадлежали глаза.

Зато не умолкал голос. Голос был негромкий, ласковый, он вкрадчиво убеждал Сережку, что лучше не мучить себя, а лечь на солому, свернуться клубком, согреться и уснуть надолго — до тех пор, пока не минуют все напасти: голод, холод, непосильная работа, война, наконец. И Сережка начинал погружаться в этот сладостный мир небытия, ему виделся дом, теплая печь... И вдруг — тревожные глаза матери: «Сережа! Сынок, не спи!»

— Мама! — Сережка вздрагивал.

Мать, наверное, молится за него. Он спохватывался, уже безучастный к себе, обморочно замиравший от остудной боли, добиравшейся от рук до самого сердца, не мог не подчиниться этому зову, вновь начинал рвать неподатливую солому. Мать следила за ним, умоляла, требовала вернуться домой.

От движений он, наконец, согрелся, лихорадка отпустила, и он почувствовал бы себя почти счастливым, если бы руки не страдали по-прежнему.

Стог сметан был на совесть: ни капли влаги внутри; была бы солома мокрой — запрела бы, было бы тепло, а так — и в глубине стынь, будто тут, в поле, зима утвердилась давным-давно и проморозила все насквозь.

Постепенно нора стала большой настолько, что Сережка мог укрыться в ней. Он уже стал сознавать, что был на краю гибели. И смерть, недавно близкая, казавшаяся приятным и желанным сном, немного отодвинулась и обрела свое жуткое обличье. В этот миг ему показалось, что кто-то бесшумно подкрался сзади,— Сережка резко оглянулся, трепыхнулся в испуге, загнанным зверьком застучало сердце в груди. Но нет, никого... Только изломанная Сережкина тень на стогу — это лунный серп объявился над дорогой, вышел из-за колка или из-за дальнего облака вылупился.

Сережка влез в свое убежище вперед ногами, охапкой надерганной соломы закрыл за собой вход. От прикосновения холодной соломы его снова стала бить дрожь. Напуганный собственной тенью, вновь вспомнил о волках, подумал, что стоило потрудиться больше, зато сделать дыру выше, куда зверям не дотянуться. А так они быстро распотрошат его соломенную затычку. «Я им банкой по зубам»,— подбодрил себя Сережка, но это не успокаивало, он напряженно прислушивался к тишине: тихо, даже мышей не слышно, только собственное дыхание да стук сердца.

От дыхания в закутке у Сережки стало чуть теплее, он расслабился наконец и провалился в сон. Уснул крепко, беспамятно, как после купания в ледяной воде.

Проснулся внезапно, как от толчка, и мгновенно вспомнил, где он, словно бы и не спал.

Мороз в поле усилился, или ветер переменился — в норе у Сережки похолодало. Прислушался тревожно.

Тихо. С бьющимся сердцем проделал небольшую дыру наружу, но ничего не увидел. Холодно. Жутко, Уже не потому, что кто-то недобрый мог появиться вдруг, а потому, что никого нет.

Сережка заткнул дыру, попытался ус-

нуть, но сон не шел, знобило, и нестерпимо хотелось есть. Он стал думать о доме, о матери, и тогда мир и пропавшие люди возвратились на свои места. Всем трудно, надо терпеть.

Сережка лежал на боку, свернувшись клубком, так тепло, казалось, сохранялось лучше, ноги, однако, совсем онемели, пробовал шевелить пальцами — от сырых ботинок озноб по всему телу. Мать отдала ему свои ботинки для работы на лесозаготовках, сама осталась босиком. Тогда, в начале августа, было тепло, а по осенней слякоти она, наверное, ходила в галошах.

Он чувствовал тощим животом драгоценную банку с рыбой и ощущал, как самого себя, как пальцы рук и ног, оба сухаря в карманах, галеты в кульке и сахар. Пожевал сладковатую соломинку — желудок, соблазненный близостью пищи, завопил от Сережкиной скупости, требовал хлеба. Сережка достал галету, откусил крошку и медленно-медленно начал сосать, растягивая удовольствие и намереваясь таким образом обмануть голод и насытиться малым.

Утро родилось в муках, словно никаких надежд в мире уже не осталось: медленно, нехотя рассеялась мгла, красное, как воспаленный глаз, небо в том месте, где должно было показаться солнце, не сулило перемен к лучшему в наступающем дне, мороз дожимал свое.

Сережка задубел, сознание чуть брезжило; надо было выползать из норы и двигаться домой, но мысль эта, вялая и отстраненная, будто не имела отношения к нему, не задевала и не беспокоила. Укрыться бы одеялом и спать, спать... Банка мешает и холодит. А мать хочет селедки...

Сережка медленно-медленно разогнулся, вытолкнул затычку, кое-как вывалился следом. Стоя на коленях, непослушными руками, как культями, попытался собрать солому и восстановить нарушенный стог, но сумел лишь сгрести ее в кучу. Долго елозил по земле, пока не встал на ноги, ноги были чужие. Отупело переставляя непослушные свои подпорки, заковылял к дороге.

На дорогу он выбрался вместе с солнцем. Оглянулся. Золотым шатром стояло его соломенное убежище — неласково встретило, но спасло.

Солнце поднялось выше, перестало хмуриться, заулыбалось; снег от его улыбки помягчел, поплыл под ногами; грязь, налипая на ботинки, сделала их тяжелыми, как гири. Сережка с трудом тащил эти пудовки. Он часто останавливался, оглядывался и шарил глазами по дороге в надежде, что кто-нибудь догонит и подвезет его.

Сережка боялся сойти с дороги, чтобы не пропустить попутку. Колени подгибались, и, наконец, Сережка остановился. Глаза закрывались. Он постоял так, собрался с силами, выдрал из грязи, как из клея, одну ногу, тряхнул, но слабо, грязь не отвалилась. Кое-как добрел до канавы, сел на обочину; даже заплакать сил не осталось. Достал сухарь, есть ему не хотелось, но он сознавал, что надо подкрепиться, отгрыз уголок, начал медленно жевать. И вдруг голод вспыхнул в нем с такой неистовой силой, что Сережка дрожа и раздирая губы в кровь, смолотил сухарь и, не помня себя, вытащил из-за пазухи сверток. Развернул, сунул кусочек сахара в рот и... опамятовался. А как же Мишутка? Что он скажет сестре? Как посмотрит в глаза матери?

Давясь сладкой слюной, завернул надежно свой провиант в тряпицу, спрятал на груди, наново перепоясался ремнем, поднялся.

Послышался отдаленный терпеливый вой мотора, а потом и знакомое громыхание. По тракту вслед за ним ползла полуторка, та самая, что вечером попала ему навстречу. Сережка повернулся и во все глаза смотрел на водителя.

Машина остановилась.

Глава 4

Сережка влез в кабину, сел на порванное сиденье, из которого вместе с ватой торчала пружина, сказал:

— Довезите, дяденька, мне — в Ждановку.

— Дяденька? — хохотнул сиплым голосом шофер и тут же ругнулся: — Паскуда! Пока едешь — работает, остановишься — глохнет.

Водитель неуклюже вылез из кабины, достал из-под сиденья железную рукоять, начал заводить — полуторка дергалась, чихала, но тут же глохла вновь.

— А ну, парень, нажми стартер — вот здесь — и отпусти,— он кинул шапку на сиденье — упарился, и... Сережка увидел толстую косу, выбившуюся из-под телогрейки.

Девушка оказалась молодой, моложе, наверное, Натальи и Арины, с которыми Сережку отправляли на лесозаготовки, только лицо у нее кажется грубым из-за того, что чумазое. Шапка, мужские суконные штаны и, главное, хриплый голос обманули Сережку. А водитель ему с самого начала показался странным — кургузым и широкозадым.

— Чего вытаращился? — засмеялась она, когда мотор, наконец, ожил и она заняла свое место. Передразнила: — Дяденька! Не видел таких замазух?

Сережке было неловко оттого, что обознался, он опустил взгляд, увидел ее колено, туго обтянутое серой штаниной, нахмурился и стал смотреть вперед, стараясь незаметно ладонью прикрывать рвань на своих тощих и грязных ногах.

Девушка бросила рукоять под ноги, закусив губу, выжала сцепление и включила скорость — машина слегка дернулась и, подвывая и соскальзывая в рытвины, поползла вперед. Лицо у нее стало серьезным и сосредоточенным: разогнать машину на скользкой избитой дороге и не съюзить в канаву было непросто.

— Откуда чапаешь? — спросила она, когда дело наладилось.

— Лес разгружал. В городе.

Она мельком взглянула на него, качнула головой, вздохнула:

— Да-а. Ждановка твоя где? Я такой не знаю.

— А мы — в стороне, за Семеновкой.

— Ага. Удрал?

— Нет. Закончили.

— Почему один?

Сережка коротко рассказал, как из Ждановки его одного оставили на разгрузке барж, а остальных отправили в лес.

— А я вот, дура, ездила запчасти для эмтээс получать, —она крякнула по-мужицки, будто ругнулась.— Всего два коленвала дали да ящик с болтами. Тьфу! — помолчала, подумала немного:— Могли и вовсе ничего не дать.

От мотора в кабину шло тепло, Сережка согрелся, глаза у него стали слипаться, его мотало из стороны в сторону, несколько раз он сильно ткнулся лбом в стекло.

— Разобьешь! — и тут же пожалела: Умаялся, бедненький. Голодный, поди?

Могла и не спрашивать. Она видела Сережкино лицо, когда он влезал в кабину: от боли и усталости голубые глаза его поблекли и стали заволакиваться белесой мутью — верный признак того предела человеческого терпения, за которым наступает смерть или ожидает безумие.

Сережка уловил в ее голосе заботливые бабьи ноты. Промолчал. Она некоторое время сосредоточенно смотрела вперед, потом, когда миновали трудный участок дороги, расстегнула левой рукой верхние пуговицы на ватнике, а там и на кофте, достала небольшую горбушку хлеба, переломила пополам, уперев в колено:

— На, пожуй,— откусила от своей половины и проделала все в обратном порядке: спрятала хлеб, застегнула пуговицы.

Сережка не смог отказаться. Хлеб оказался теплым, словно не успел остыть после печи, и был необыкновенно вкусным. Сережка съел его и осоловел окончательно; не противясь руке, которая потянула его к себе, привалился лицом к пахнущему бензином и солидолом девичьему боку и, согретый теплом и урчанием машины и заботой своей спасительницы, уснул крепко и спокойно.

Самые счастливые два часа своей жизни Сережка проспал: они потому и были счастливыми, что можно было спать в то время, когда дом приближался. Почти угасшая жизнь опять возвращалась в Сережкино тело.

— Вставай, а? — сиплый голос был негромким, но настойчивым.— Проснись! Приехали!

Одной рукой она обняла его за плечи, удерживая в сидячем положении, другой легонько ворошила спутанные Сережкины волосы и дула ему в лицо.

А он, глубоко убаюканный качкой, теплом и чувством безопасности, все никак не мог расстаться с безмятежным

видением: лежит он на возу с пахучим сеном под голубым небом, с которого льется на него благодатный солнечный свет, обдувает его приятный ветерок и мельтешат над ним синие мотыльки, норовя сесть на лицо. Ему щекотно, он улыбается лету, солнцу, всей той жизни, что не знала войны. Невидимая с воза лошадь облегченно вздыхает, втащив телегу во двор, телега останавливается, и мать говорит Сережке почему-то хриплым, как у отца, голосом:

— Приехали!

Он соскальзывает с воза на землю, мать подхватывает его, чтобы не упал, а он обнимает ее и целует в шею. Пахнет от нее почему-то, как от отца...

— Э-э! — смех, и Сережка чувствует, как его отстраняет от себя — уже не мать.

Он очнулся, очумело хлопал ресницами, смотрел в незнакомое чумазое лицо, усталое, но улыбчивое.

Машина стояла посреди дороги, мотор исправно работал на холостом ходу, за кабиной — первосумерки, слева от дороги — поле, и справа — поле.

— Тебя как звать? — спросила она, надевая на него фуражку.

— Сережка.

Она вздохнула:

— Вон Семеновка, Сережа,— он увидел в той стороне, куда она показывала крыши домов.— Доехали.

Он отодвинулся. Медленно — расставаться с уютной кабиной, чтобы снова брести по пыточной дороге, не хотелось — нерешительно открыл дверку и замешкался: надо было что-то сказать ей, и не знал — что. Может быть, сказать, что всегда будет помнить ее, и пусть она заезжает в Ждановку, они все — мать и Нюра, и Мишук — будут рады. Если не сможет теперь, пусть после войны приезжает, отец тоже обрадуется...

Но язык для таких слов был непривычен. Сережка ничего не сказал, сунул руку за пазуху, нащупал в холстине кулек с галетами, после недолгих колебаний достал его, положил, потупясь, на сиденье и спрыгнул на землю.

— Стой! — сказала она, но это только подхлестнуло его.

Откуда силы взялись? Сережка рванул через канаву, выскочил на колею проселочной дороги, отбежал шагов десять и оглянулся. Она стояла впереди машины, положив руку на радиатор, смотрела, наклонив голову, ему вслед.

— Дурачок,— сказала негромко неожиданно очистившимся от хрипоты голосом, — глупенький.

— Спа-си-бо!—Сережка некоторое время шел спиной вперед, потом повернулся и, прихрамывая на обе ноги, деловито зашагал к деревне.

Глава 5

Галеты оставил. Жалко? Сережка не мог ответить на этот вопрос. Оттого, что не пожадничал, будто посветлело на душе, а перед Нюркой и Мишуком — виноват, вот и разберись.

Ну ничего, сейчас хлеб дома должен быть. Дали на трудодни, наверное, хоть сколько-нибудь. Всю прошлую зиму навоз с фермы на поля возили, дожди были летом — урожай ожидался хороший. Перед войной отец полную подводу, с верхом зерна домой привозил, а прошлогодний хлебушко мать на себе, не тужась, принесла.

Сережка достал из кармана последний сухарь: теперь он уже не сомневался, что доберется домой.

Если бы дали по полкилограмма на трудодень... Жирно будет, хотя бы грамм по двести и то хорошо: с картошкой, огурцами, свеклой, морковкой да капустой — жить можно было бы! Только успела ли мать управиться на своем огороде? Ну, разве оставит она его? Лишь бы не захворала; выкопала, конечно, и картошку, и репу. Да и Нюрка там... уже не маленькая.

Мысль о сестре, вильнув змейкой, вернула его на дорогу, к девушке-шоферу. Смелая. Сережка оглянулся. Полуторка была бы еще видна, но сумерки уже надвинулись и поодаль сравняли все — небо, землю, машину. Мелькнули две крохотные звездочки низко над полем и пропали. Может быть, это свет задних огней, или они у нее не горят?

Не спросил, как зовут. Оробел вдруг. Наверное, Дашей. Даша — хорошее имя, Сережке нравится. Добрая — угостила его теплым хлебом. Не мог он остаться в долгу, вот и вытащил галеты.

Ей еще крутить и крутить баранку, нахлебается в темноте по такой дороге, хорошо, если машина не подведет. Свечи — барахло, факт, а бабы что понимают? Ну, она, кажется, толковая: все лицо забрызгано, откручивала, значит. да толку, видно, чуть.

Видел Сережка, что не хочется ей отпускать его, тоскливо оставаться ночью одной на дороге...

Сережке вдруг стало нестерпимо стыдно за свой драный ватник, за протертые штаны, сквозь которые она видела его грязные колени, за весь свой тощий измученный вид. Сережка почувствовал, как у него загорелись уши.

Оглянулся еще раз, и опять ничего не увидел, и снова низко над землей мелькнули два слабых, как светлячки, огонька и пропали. И снова Сережка не обратил на них внимания.

Слева от дороги дружно под снег поднялись озимые. Ровный бархат зелени, казалось, густел в подступавшей тьме, но Сережка видел поле так, будто стоял самый ясный день. Как видел его, когда выходил с отцом поздней осенью за околицу.

Земля пустела и блекла к зиме, и неожиданная свежесть зелени озимого поля радовала и восторгала отца, он не мог не похвалиться своей работой, не поделиться этой радостью с близкими, выводил за деревню всю семью — жену и ребятишек. Мишуку трудно было идти по стылой неровной дороге, и отец садил его на плечо...

Какое теперь у него поле? Живой ли? Почему мать Сережке ничего не писала, только ли потому, что дела невпроворот?

Может быть, посадят Сережку на отцовский трактор весной, когда Михаилу Жданову исполнится восемнадцать, и он уйдет воевать? Сережка справится, он отцовский колесник знает до последней гаечки.

Будто шилом ткнули Сережку в спину, он резко обернулся. Парных светляков на поле стало много, они бесшумно передвигались над озимыми, и хотя в мгле трудно было понять, далеко это или близко, но было ясно: они движутся в его сторону. Волки!

Сережка побежал. До крайних домов оставалось совсем недалеко — пахло деревней, видны были редкие огни: доковыляв до первых огородов, оглянулся. Никаких светляков, пусто. Померещилось ему, или волки, еще не обозленные зимней голодовкой, близко к деревне подойти не решились?

Сережка прошел по улице до ближней избы, где горел свет в окне, постоял напротив, но подойти постучать не решился. Если бы не волки, отправился бы домой не задумываясь, а так надо проситься на ночлег.

Увидев идущего по улице мужчину, Сережка поторопился ему навстречу. И вовремя: мужчина свернул к дому.

— Дяденька! — позвал Сережка. Тот повернул голову в его сторону, задержал шаг. — Дяденька, — несмело повторил Сережка, теряя уверенность по мере того, как подходил ближе,— пустите переночевать.

Мужчина молча, не глядя на Сережку, пожевал губами. Лицо его, заросшее щетиной, было угрюмым, а поза выражала сомнение.

— Я из Ждановки,— против воли голос у Сережки задрожал и в нем появились жалостливые ноты. Мужчина вздохнул.— Дяденька, не бойтесь, я — сытый!

— К-хе,— мужчина хотел что-то сказать, но поперхнулся, пошел к воротам, связанным из одних жердей, между которыми во двор мог легко пролезть взрослый, не только Сережка: доски с ворот были сняты на дрова или для другой надобности. И покосившаяся рама калитки тоже зияла насквозь.

Мужчина отворил ее, оглянулся:

— Что стоишь? Заходи.

В сенях хозяин приостановился, тронул Сережку за плечо.

— Ты — того, не думай: места не жалко, у нас это — малость нехорошо.

«О» в словах у него круглое, выпирает, и кажется, что вот-вот выкатится.

— Здравствуйте,— сказал Сережка, переступив порог, и стащил с головы фуражку.

В доме топили плиту, свет из раскрытой дверцы ее падал под ноги вошед-

ним и освещал лица трех ребятишек — двух девочек, примерно четырех и шести лет, и мальчишки немного постарше их. Они грелись у огня, сидя на корточках у открытой топки, и дружно повернули головы, когда отворилась дверь.

На Сережку ребятишки уставились с недоумением, словно в дом к ним никогда не заходили посторонние люди.

— Здравствуйте,— неуверенно сказала девочка постарше, а за ней эхом с той же неуверенностью поздоровалась малышка.

Больше никто не отозвался, хотя у плиты над чугуном виднелась и женская фигура; Сережка подумал, что это мать ребятишек.

— Темно,— сказал ей хозяин,— запали лампу.

Она немедленно исполнила приказание, шагнула к ребятишкам, наклонилась, взяла с пола лучину, сунула в огонь, зажгла; подошла к столу, сняла свободной рукой стекло с лампы — стекло было заранее почищено,— положила его на стол, вывернула фитиль, поднесла к нему лучину, вставила стекло, убавила огонь, чтобы лампа не чадила и давала ровный свет.

Сережка с волнением следил за каждым ее шагом. Так же вот, наверное, и у него дома сейчас мать или сестра зажигают лампу...

Мальчишка забрал чадящую лучину и бросил в печь. При свете Сережка разглядел, что это не мать ребятишек, а их старшая сестра. Было ей лет шестнадцать на вид, и все, что должно, в ней уже округлилось, словно бы и не было никакой войны и постоянного недоедания.

— Па,— негромко пожаловалась девушка отцу,— она опять не ела.

Отец посмотрел в сторону тьмы на печи, нахмурил свой и без того морщинистый лоб, но сказал другое:

— Посади гостя.

— Проходите,— серьезно и вежливо, как взрослому, сказала девушка Сережке,— вот сюда.

Вдоль стены у длинного стола стояла широкая прочная лавка, с трех сторон — табуретки, тоже кондовые, сработанные на долгий век. Сережка немного отодвинул от стола предложенный ему табурет, сел, прикрыв дыры на коленях фуражкой, замер, терзаемый мыслью, что хозяева будут ужинать и пригласят его.

Малыши поспорили, кто будет поливать на руки отцу; очередь, видимо, была за мальчишкой, и он, овладев ковшом, зачерпнул воды из небольшого бочонка, стал возле таза, дожидаясь, когда отец стащит с себя пахнущие навозом сапоги. Хозяин умылся, достал с полатей старые валенки, надел и подсел к Сережке.

— Ты откудова?

Сережка объяснил.

— А чей?

— Узлов. Павла Семеновича сын.

— А-а. Нет, не знавал,— хозяин устало вздохнул, свесив тяжелые кисти рук с колен, о чем-то задумался. Потом поделился заботой с Сережкой, как с ровней: — Соли нет — беда. Капуста вся в кладовке лежит несоленая, огурцы скотине скормил...— спросил: — Сколько еще будем с им биться?

— Н-не знаю.

Сережка припомнил, как много в конце лета и начале осени говорили по радио о победах — на Курской дуге, под Харьковом, Смоленском и Новороссийском... Напали фашисты на нас вероломно, воспользовались моментом: пока наши силы собирали, они много земли и городов захватили. Но теперь Сталин дал приказ, и не будет врагу пощады.

При мысли о великом вожде, самом мудром человеке на земле, сердце у Сережки взволнованно забилось — на него вся надежда, он все знает, все может. Бойцы за него жизни кладут, и Сережка бы свою не пожалел, отдал бы с радостью — пусть прикажет. Сталина Сережка любил и уважал как отца, а может, и больше. Его внимательный чуть прищуренный взгляд постоянно чувствовал Сережка на себе, и взгляд этот давал ему, как и всему народу, смелость и силу, и терпение. И конечно, веру в победу. Без веры никак: много у народа врагов, даже в Ждановке был один. Откуда они только берутся? Прикидывался хорошим трактористом, а сам в позапрошлом году на весеннем севе запорол двигатель. Кольца и поршни, говорит, старые и потертые, а он не виноватый. Забрали его куда следует, а жену из колхоза исключили, подхватила ре-

Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова

бятишек и уехала... Товарищ Сталин разобьет и уничтожит всех врагов.

Вслух высказать свои чувства Сережка постеснялся.

— К весне, пожалуй, не отвоюемся,— сказал он солидно,— сеять сами будем, а урожай пусть батя убирает.

И улыбнулся счастливо, увидев как наяву идущий по золотому полю отцовский трактор с прицепленным к нему комбайном.

Хозяин внимательно слушал Сережку и, кажется, понимал все его невысказанные мысли.

— Так. Гм... В городе-то что говорят?

Что говорили в городе, Сережка не знал, он и городских людей-то почти не видел. Все новости сообщал им репродуктор, установленный на столбе возле барака, а лейтенант Вахрамеев разъяснял иногда военные сводки штатским бабам, приспосабливая важные новости на пользу конкретному делу разгрузки барж, разоблачал глупую политику Гитлера:

— Он думал, что мы разбежимся, как только увидим их танки. Такая доктрина у фашистов была: ударим хорошенько — и Советский Союз развалится, русский против татарина пойдет, тот — на казаха...

Намек был всем понятен: тетка Параскева обозвала однажды стариков Искандярова и Акпергенова узкоглазыми баранами за то, что они подолгу мылись в бане и задерживали баб.

Еще не совсем старики Искандяров и Акпергенов, татарин и казах, неразлучные и на барже, и на берегу, согласно кивали головами: думал дурной фюрер так, правильно говорит начальник лейтенант, но ни хрена у фашистов не выйдет — тоже правильно. На Параскеву они нисколько не обижались.

Высокая, худая как жердь, Параскева, мгновенно воспалясь гневом, ругалась на чем свет стоит:

— А... не хотел?! — и, выбросив воображаемому бесноватому фюреру под нос реальный жесткий, как сучок, кукиш, требовала: — Так, лейтенант, крой дальше! Мать их...

Бабы вообще-то почти не матерились и попервости пытались одернуть и мужиковатую Параскеву, потом махнули рукой. Эта речь Параскевы воспринималась как просьба о прощении за «баранов» и обещание, что такое больше не повторится.

Еще лейтенант говорил тогда о неразрывной, крепкой, как цепь, дружбе всех советских народов и призывал дать врагу по мозгам ударной работой на разгрузке смертельно необходимого для фронта леса.

Сережка усвоил, конечно, всю эту политграмоту назубок, но повторить ее перед незнакомыми людьми не решился. В то же время он чувствовал, что в их глазах он не просто парнишка из Ждановки, а представитель армии труда, который побывал ближе к месту смертельной схватки и потому умудрен особым знанием.

— В общем,— Сережка поднял кулак с зажатой в нем фуражкой,— будут знать, как к нам соваться, запомнят фрицы на всю жизнь!

— Скоро, говоришь? М-да-а,— хозяин покачал головой, будто соглашался,— война на самой макушке, попьет еще нашу кровушку. А солдатного народу мало осталось.

Картошка сварилась, девушка слила отвар из чугуна в небольшую бадейку: картошку вывалила в огромную, как таз, миску, поставила на стол. От картошки валил пар, почти забытый за три месяца запах ударил Сережке в ноздри. Он встал и отошел от стола в запечье, сел на лавку, по которой хозяева взбирались на полати.

Девушка принесла половину каравая из сеней — хлеб был серый, военного, хорошо знакомого Сережке замеса,— взяла нож, стала резать. Сережка старался не смотреть в ту сторону, но видел мельком и хлеб, разрезанный на восемь частей, и картошку, исходящую паром, и крупно молотую соль, одну щепоть, в темной казеиновой тарелке, и ребятишек, которые заняли свои места за столом и немедленно приступили к делу: выдернули из миски по картофелине и, обжигаясь, начали счищать с нее пленку кожуры.

— Хоть ты и сытой, а садись,— кивком указал хозяин Сережке на табурет у стола. По голосу его нетрудно догадаться, что он твердо знает, что любой

гость в эту пору — голодный.— Да куфайку-то сыми, натопилось уже, чего преть?

С печи, из тряпья, которое успел разглядеть Сережка, когда подходил сюда, слышно было неровное дыхание больного человека. Вот почему сказал хозяин Сережке, что у них дома нехорошо: помирает человек. Его зовут к столу, а что же та, которая «опять не ела»?

Голод-зверь давно ожил в Сережкином теле, он нерешительно взялся за ремень — снять ремень значило обнаружить банку с рыбой, которую надо было непременно донести домой. Именно вот с такой картошкой, «в мундирах», мечтала поесть селедки мать.

Хозяин подошел к Сережке, стал ногой на лавку, потрогал больную рукой.

— Слышь-ка, иди ужинать. Давай помогу слезть.

В это время Сережка увидел, как из горницы, шаркая ногами по полу, вышла седая старуха, пристроилась на край лавки за столом, рядом с внуком. Стало ясно, почему хлеб порезали на восемь кусков: семеро в семье, Сережка — восьмой.

На печи никакого движения не обозначилось, только хрип прервался, когда последовал короткий слабый отказ:

— Не хочу.

Хозяин посмотрел на Сережку, словно прощения просил: вот, мол, парень, какие наши дела, положил руку на его плечо, остро выпиравшее из-под «куфайки», легонько направил в сторону стола.

Придерживая банку под полой,— ремень он снял и вместе с фуражкой положил на скамейку,— Сережка сделал два неуверенных шага, в ушах у него все еще слышался слабый исчезающий голос: «Не хочу», приостановился, пронзенный внезапной догадкой: может быть, она чего-то хочет?! Даже дыхание притаил: больная, наверное, как Сережкина мать, тоже поела бы селедки! Но — умрет и никогда не узнает... Кровь отхлынула от лица, Сережка медленно повернул голову:

— Дядя, — шепотом спросил он, — вас как зовут?

— Иваном, — ответил хозяин и, помедлив, добавил, — Матвеичем.

— Дядя Иван,— прислушиваясь с удивлением к своему шепоту, словно бы он исходил откуда-то со стороны, продолжал Сережка, — у меня вот!

Он вынул свою ношу из-под полы, подержал сверток у груди — напоследок, будто можно было еще передумать и остановиться, потом прошел на ослабевших ногах к столу и на свободном краю развернул.

Все притаились.

Ребятишки переводили взгляды с белых квадратиков сахара на блестящую банку, Иван Матвеевич и старшая дочь смотрели в стол перед собой, и только старуха изумленно воззрилась на Сережку, как на чудотворца, перед тем она не замечала его. Сережка видел, они испугались, словно бы давно ожидаемая в доме беда — вот, пришла!

— Что это? — тоже переходя на шепот, спросил Иван Матвеевич и, наконец, оторвал взгляд от стола, исподлобья недоверчиво посмотрел Сережке в глаза.

— Открыть...— совсем тихо, одними губами, распорядился Сережка.

В банке, остро пахнущей пряностями — лавровым листом, перцем и маринадом, было восемь ломтиков — шесть в ряд и по одному сверху и снизу — ровно столько, сколько было в доме людей, как будто чья-то добрая рука заранее знала про этот случай.

Иван Матвеевич слизнул с ножа темно-коричневый рассол, изумленно посмотрел на окружающих, только теперь, похоже, поверил, что ему не блазнится.

— Мать,— сказал он громко в сторону печи,— слазь скорей — тут селедка! Помоги, Катерина.

И сам медленно пошел вслед за дочерью.

— Селедка...— слабый голос был полон горечи и укоризны и непоколебимой убежденности в том, что ее лишь манят к столу, а ни о какой селедке речи быть не может.

— Право слово! Давай руки.

Но уже распространились по избе запахи, и были они красноречивее всяких уговоров.

— Ва-ся!? — у Сережки мурашки по спине побежали от этого ее вскрика, столько в нем выплеснулось печали, надежды и радости.— Ва-сень-ка приехал?!

Простоволосая старуха с вздрагивающей от слабости головой спустила с печи

неимоверно худые ноги. Сережке стало не по себе: две старухи в доме, а где же мать ребятишек? И кто тот Вася, за которого его принимает умирающая?

— Постой! — Иван Матвеевич едва успел подхватить падающую с печи больную, поставил на пол.—-Чуни-то надень.

Она как была босиком, так и устремилась к столу и к Сережке. В глазах ее, казалось бы уставших от жизни и потухших навсегда, зажглись безумные огни, она не понимала, зачем ее задерживают, зачем надевают на ноги старые с обрезанными голенищами валенки и заталкивают руки в рукава кофты.

— Сережка это Узлов,— негромко. внушающе сказал Иван Матвеевич,— рыбой нас угостил. Иди поешь.

За столом, когда ее посадили рядом с Сережкой, она разглядела его и опамятовалась, зажав ладони коленями, стала покорно ждать, как с ней распорядятся дальше. Голова ее на тонкой синюшной шее медленно колыхалась из стороны в сторону, как осиновый лист на слабом ветру.

Катя поставила перед ней жестяную тарелку, положила на нее ломтик хлеба, начала очищать картофелину.

Иван Матвеевич, стоя, раздавал рыбу — подцеплял ложкой, придерживая большим пальцем, осторожно вынимал из банки и, внимательно следя за тем, чтобы капля драгоценного рассола не упала на стол и не пропала зря, переносил на тарелку. Первый ломтик, из середины банки, положил Сережке, второй — больной:

— Ешь, Семеновна.

Когда Иван Матвеевич занес руку над банкой в третий раз, по его посветлевшему от радости лицу пробежала тень. Рука повисла в воздухе. Он посмотрел на Сережку озадаченно, будто забыл враз, кто это и откуда взялся, медленно повел головой, осмотрел тем же недоумевающим взглядом застолье — старух и детей, ждущих, что будет дальше, снова обратился лицом к гостю:

— У тебя дома-то кто?

— Мама,— Сережка смутился, словно его уличили в воровстве, опустил голову, добавил тише,— и Мишутка с Нюркой.

За столом все разом, кроме больной, занялись картошкой.

Сережка и без того чувствовал себя несчастным — от взгляда Ивана Матвеевича, а как от него отвернулись даже малыши, так готов был умереть от горя. Но не умер, смотрел в лицо Ивана Матвеевича и кричал молча: «Домой не понесу!» И захлебнулся в невидимых слезах. Хозяин и сам понимал, что не дать теперь своим детям рыбы — невозможно, но невозможно было и отнять ее у тех, кому нес эту рыбу Сережка. И тогда Иван Матвеевич взял нож и разрезал очередной ломтик пополам. Всем остальным выдал по половинке; три кусочка остались в банке нетронутыми. После чего он аккуратно прикрыл крышку, придавил большим пальцем и посмотрел на гостя, словно ждал подтверждения, что сделал как должно.

У Сережки посветлело на душе, он улыбнулся сквозь кипевшие на глазах слезы и посмотрел на больную, приглашая и хозяина обратить на нее внимание; старуха к пище не притронулась, она по-прежнему сидела, зажав руки в коленях, и все так же качалась голова ее на тонкой шее.

— Давай очищу,— сказал ей Иван Матвеевич.

Она отрицательно мотнула головой и от резкого движения чуть не повалилась с табурета.

— Ты чего? — удивился отказу Иван Матвеевич.— Я же вижу: хочешь!

Она облизнула сухие губы.

— Все одно помру,— две скупые слезы покатились по лицу,— зря пропадет.

— Ты мне эту дурь брось! — строго сказал Иван Матвеевич и кончиком ножа вспорол ломтик по брюшку.

Взгляд больной вновь вспыхнул безумием, она неожиданно быстрым движением выхватила свою долю из-под ножа, впилась в селедку ртом и стала судорожными сосущими движениями впитывать в себя живительную влагу.

Глава 6

Ночью мороз был сильный, землю припорошило слоем свежего снега, природа, словно мать, ожидая сына домой, выстелила на поля и дороги большую чистую холстину. Шагая по застывшей колее, Сережка думал о том, как ему

повезло: сперва с машиной, потом с ночлегом — замерзнуть в такую ночь ничего не стоило.

Спал он у теплой стены, у печки, сладко, как, бывало, дома. Засыпать он начал еще за столом — сказывалась дорога и те три месяца работы, которые, казалось ему, утомили его, всю оставшуюся жизнь. И вообще, будь у него такая возможность, лег бы он спать на целую неделю.

Он с трудом стащил с ног ботинки, засунул в них протертые свои носки, сделанные матерью из старых чулок, прошел, как велела седая старуха, на чистую половину дома и хотел повалиться на большой сундук, на котором уже была постелена старая шуба, но старуха повернула его к широкой лежанке, где обыкновенно спала сама — одна или с кем-нибудь из малышей.

— У меня грязные,— с трудом ворочая отяжелевшим языком, сказал Сережка,— гачи.

На штаны за дорогу намоталось и насохло грязи до самых колен, но снять их он не мог, потому что от трусов у него осталось одно название.

— Нешто это грязь? Это, сынок, земля. Земля грязной не бывает,— она легонько подтолкнула его. — Ложись, ангел, к теплу, а я — с краешку.

Сережка видел еще, как Катя принесла себе какую-то одежину вместо одеяла и села на сундук, дожидаясь, когда Сережка отвернется, и ей можно будет тоже лечь. Потом ее отец погасил лампу, стало темно, но сон почему-то улетучился, и Сережка слышал некоторое время, как шуршало в той стороне, где была девушка, а затем стихло.

Утром он пробудился последним, после того как поднялись Иван Матвеевич, старуха и Катя. Он хотел одеться и незаметно улизнуть, чтобы не дожидаться завтрака, но старуха увидела, что он зашевелился, остановила:

— Погоди-ка,— сказала,— ноги забинтую.

Она зажгла лампу, принесла и поставила на табурет напротив. При свете Сережка с удивлением обнаружил, что ноги ниже колен у него чистые, протертые, видимо, влажной тряпкой, а потертые места и цыпки чем-то смазаны. Кожа на ногах помягчела и стала не такой болезненной, как была с вечера. Крепко же Сережка спал, если не почувствовал, как старуха лечила его!

Она забинтовала ему обе ноги белыми лоскутами, подала носки, чистые, сухие и заштопанные; принесла ботинки, тоже чистые и просушенные, вытащила из них ветошь, которой она набила ботинки с вечера, чтобы при сушке они не скукожились:

— Налезут? Да не так, кулема,— командовала она Сережкой ласково, но решительно, как собственным внуком.— Вот эдак.

Помогла ему обуться так, чтобы тряпицы на ногах при ходьбе не сбились. Нарочито грубоватым обращением она прикрывала свою жалость и озабоченность бедственным Сережкиным положением; душа его, которая исподволь, незаметно для него самого ожесточилась невзгодами последних дней, душа отмякла и отзывалась щемяще и сладко на малейшее проявление доброго чувства. Казалось ему: он — дома, хотелось смеяться и плакать. Но как и она, Сережка был с виду деловит и озабочен, собирался в путь обстоятельно и надежно.

Его заставили поесть на дорогу: опять была картошка, чай, заваренный чагой, березовым грибом, а к чаю — пареная репа, вместо пирогов.

Оставшуюся селедку ему завернули в обложку от старой ученической тетради, сахар — все шесть кусочков — в отдельный лоскуток бумажки, видимо, из той же тетради. Он начал протестовать, но Иван Матвеевич цыкнул на него:

— Того! Давай без этого.

Вышло смешно. Катя засмеялась, и в первый раз за все время Сережке показалось, что в хмари, темной тучей стоявшей в доме, появился просвет. Будто свежий воздух проник в тревожную духоту застоявшейся беды, и дышать стало легче.

Иван Матвеевич попрощался и ушел, бабушка занялась во дворе скотиной, Катя одевалась, чтобы идти на работу и заодно проводить Сережку, а он не мог просто так уйти. Он чувствовал на себе взгляд с печи и терзался внезапно возникшим в нем пониманием того, что от него, может быть, зависит: жить или умереть старой женщине. Вечером она соблазнилась соленой рыбой и поела, а

когда у человека появляется аппетит, то — кто ж этого не знает? — он может справиться с хворью. Сережка отошел к тому углу стола, который не могла видеть больная, развернул свой похудевший сверток и отделил из него одну селедочную дольку. И сахар ополовинил сперва, а потом, глянув украдкой в сторону Кати, выложил на стол четвертый кусочек. Они с матерью обойдутся без сладкого. Быстро завернул остатки, на ходу спрятал под ватник.

Девушка догнала его у калитки, заглянула сбоку в лицо:

— Ты чего помчался?

Она почему-то сильно встревожилась.

— Так,— буркнул Сережка, пряча улыбку. Он подумал, что если бог есть, то дома должно быть все хорошо.

На лице Кати появилось и не сразу исчезло выражение встревоженности и непонятного Сережке недоверия; однако морозец и ходьба согнали тревогу,нарумянили ей щеки, сделали привлекательной... да чего там — просто красивой!

Сережка поневоле взглядывал на нее искоса и молча шагал рядом. Она хотела еще что-то спросить или сказать, но ей помешала встречная женщина, которая взглянула на них с удивлением и вдруг резко свернула, обошла их стороной, как зачумленных. Катя опять посмурнела и закусила губу. Так они дошли до большого деревянного дома без ставней, до правления колхоза, здесь она придержала легонько его за рукав, чтобы сказать прощальное слово:

— Мне сюда,— посмотрела в глаза Сережке задумчиво и печально.— Вася у нас,— голос ее дрогнул,— потерялся без вести. Как это — без вести?

Она делала ударение на слове «вести» — у Сережки дыхание перехватило и озноб по спине прошел: он понял, что это было второй бедой, может быть, главной, которая придавила всех, даже самых маленьких, в Катиной семье. И поэтому она встревожилась, когда увидела, как он заторопился уходить, а когда догнала, то сомневалась: надо ли говорить, знает ли Сережка от отца о ее пропавшем брате? Без вести — что за этими страшными словами? Плен? Струсил и сдался Катин брат, и висит теперь над семьей неоглашенным пока приговором неотвратимое и вечное наказание? Уже боятся сельчане лишний раз словом перемолвиться, обходят стороной, а что станется с Катей и ее родными, если Василия официально заклеймят именем предателя?

Нет, они не такие, чтобы сдаваться, погиб Катин брат, а может, в госпитале без памяти лежит. Сережке хочется верить в лучший исход, но и червь сомнения и недоверия уже просочился в душу.

Она напряженно вглядывается в его лицо, закусив от огромной обиды губу, ждет так, будто Сережкино маленькое мнение о случившемся несчастье — главное и решающее в ее судьбе.

— А я не верю,— сказала, прочитав в выражении Сережкиного лица ход его мыслей,— и никогда не поверю... Без вести...

— И я,— подтвердил Сережка, внезапно проникаясь силой ее убежденности.

Глаза у Кати потеплели. Они у нее карие, светлые, цвета янтарного меда... Постояли еще недолго, она сказала напоследок:

— Приходи к нам завсегда, как будешь в Семеновке. Ладно?

Ботинки плотно сидели на ногах, ногам тепло и почти не больно, дорога ровная, неизбитая, шел Сережка словно пел. Будто живой водой его окропили и вернули с того света на этот — тяжелый, мучительный и горький, но такой прекрасный и желанный.

Посевы озимых тянулись и в эту сторону от Семеновки — до самого леса, и зелень хлебного поля на чистом снегу радовала крестьянскую душу Сережки, успокаивала незыблемой повторяемостью жизни растений, надежностью законов природы, которые обещали людям урожай и пропитание, несмотря на существовавшую в мире несуразно-жуткую людскую деятельность по убийству себе подобных. Теперь, при ясном свете солнца, Сережка различал каждый росток на поле и наметанным глазом определил: вручную посеяно. Знать, тракторы у соседей не на ходу — неисправны или, скорее всего, без горючки стоят. Досталось бабам в осеннюю страду... Все в их руках: и хлеб, и снаряды, и лес для фронта, исцеляющая забота и кровь, отданная раненым.

Березовый колок белел понизу стволами деревьев, кудри темно-коричневых ветвей сплетались вверху в один подсвеченный небесной синью узор. Лучи

солнца играли из-за стволов, высвечивали пылинки снежной изморози, тихо опадавшей с голых прутьев и устилавшей и без того чистое нетоптаное полотно проселка. Оборванные ветром листья таились под тонким и рыхлым пока еще слоем снега и заявляли о себе лишь негромким шуршанием под ногой.

Сразу за березняком шло ждановское поле, вспаханное под зиму, снег укрыл на нем борозды, и оно казалось аккуратно причесанным гигантским гребнем. Сережка почувствовал себя дома. Вон и непаханная полоса у края леса — любимое место отца. Весной, когда отец пахал, Сережка приносил сюда обед, отец оставлял трактор поодаль, приговаривая ему, как живому:

— Извини, друг, там другие запахи,— и, сбросив кепку на сиденье, шел к своей поляне неторопливым хозяйским шагом.

Сережка отдавал ему корзинку с провизией, семенил рядом, поглядывая на отца с затаенной гордостью и желанием поскорее вырасти таким же большим и сильным, чтобы так же уверенно шагать по своей пахоте.

А пока Сережка возвращался домой после трудной работы в городе; возвращался той единственной дорогой, по которой вслед за ним должен прийти с войны отец.

Дул ветерок, в степи редко воздух бывает спокойным, поземка начала переметать путь.

Чем ближе подходил к своей Ждановке Сережка, тем сильнее билось у него сердце. Всматривался в знакомые очертания околицы, в крыши домов и тревожился все больше и больше: ни дымка над трубами, ни звука — дверь ни одна не скрипнет, не слышно ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Деревня словно вымерла.

Помимо коровника со свинарником да тракторного двора, одна улица в Ждановке; избы стоят молчаливо по обе стороны проселка, ставни на многих окнах закрыты — берегут тепло, но Сережке кажется: смотреть на него не хотят, не ждут, а может, и ждать некому.

Вот и четвертый дом от края. Ноги у него ослабели вдруг, задрожало веко, но разглядел на снегу три цепочки следов: две со двора и одна обратно. Большие следы — мать на ферму ушла, маленькие — к колодезному журавлю и назад — Нюра воды на коромысле принесла: у калитки выплеснулась из обоих ведер...

Дома все было по-прежнему. Незыблемо стояла печь посреди избы, разделяя ее на две половины, из подпечья торчали сковородник, ухват, деревянная лопата, которой сажают в печь хлеб, когда есть что сажать, в углу — кочерга и полынный веник, привычно пахло вареными картофельными очистками, которыми подкармливали корову и кур.

Нюрка бросилась брату на шею и быстро, как ласковый щенок, обцеловала-облизала ему все лицо. Мишук, посапывая, вылез из-под стола — что-то приколачивал там,— но к брату не подошел, смотрел исподлобья, заложив руки за спину. Сережка сам подступил к нему, тоже набычил голову, нагнулся и легонько боднул.

— А мамка на лаботе,— сказал на это серьезный брат.

— Ну?!— Сережка обхватил Мишутку, поднял и, будто покусывая за ухом, спрятал от младших свое лицо.

Все ждановские уже вернулись с лесозаготовок, рассказала сестра, замученные, а дед Задорожный так и вовсе больной. Его там сильно помяло бревном, которое посунулось на крутом склоне.

— Дедушко помлет, — Мишук внимательно слушал разговор и решил, что сестра не сказала главного.

— Ты уже полные ведра носишь?— без всякой связи с разговором спросил сестру Сережка.

— Давно,— Нюра приняла это как похвалу, одновременно недоумевая: откуда брату известно?

Не раздеваясь Сережка пошел на ферму, чтобы показаться матери. Они там толком и не поздоровались: мать несла сено на вилах, ткнулась сухими шершавыми губами ему в лоб — и все. «Здоров?»— засияли глаза. И Сережка включился в работу, носил в тесный саманный коровник с крохотными подслеповатыми оконцами под крышей сено, раскладывал в ясли; нагружал на сани навоз и вывозил, то и дело попадая ногами в рытвины на земляном полу, заполненные жижей; помогал матери и дояркам таскать фляги — пустые и с молоком; крутил ручку сепаратора, а после помогал разбирать и мыть его. Домой пришли

после вечерней дойки, когда уже стемнело.

Нюрка, полновластная хозяйка в доме, к тому времени тоже подоила корову. А еще она затопила плиту, сварила ужин, подмела пол, умыла бунтовавшего против воды младшего брата.

Сели за стол. Скудные городские гостинцы лежали нетронутыми. Вымученно улыбаясь, Сережка развернул свой стыдливый припас:

— Вот: сахар маленьким, а взрослым — селедку.

— Ага! Я тоже середку!— Мишук, оказывается, научился выговаривать «р», но вставлял этот звук не там, где надо.

Сахар для него никакой ценности не имел, он просто не знал, не помнил, что это такое, как, впрочем, не знал и вкуса соленой рыбы, но раз взрослым полагается селедка, то и ему ее надо: Мишук тоже хотел быть большим.

Мать отвернулась на минуту, будто по делу, к плите, покусала губы, чтобы остановить ненужные слезы, готовые выкатиться наружу, улыбнулась и посмотрела на сына с любовью и гордостью, словно бы он не два измятых и уже подсохших кусочка рыбы домой принес, а геройский подвиг совершил — немецкий танк подбил или фашиста в плен взял.

Селедку она порезала наискосок тоненькими ломтиками—получилось много, уложила лесенкой на тарелку, сверху луковичными колечками украсила.

— Праздник,— вздохнула,— мужчина в дом вернулся.

На что мужчина неожиданно для всех и для себя швыркнул носом: промочил на ферме ноги, вот и приключился насморк от простуды.

Отдохнули за ужином, и мать села за прялку, а Сережка нашел в кладовке вар, достал из комода толстые суровые нитки и принялся сучить дратву: зима пришла, валенки надо подшить.

— Налог выплатили,— негромко отчитывалась мать,— молока осталось отнести литров пятнадцать, ну, справимся: корова доится пока. Яйца сдали полностью...

— Да!— перебил Сережка,— что с курами? Не зарубила?

— Нет.

— А клещи? Вывела?!

— Избавились. Спасибо бабушке Терентьевой,— вздохнула, царствие небесное ей, — и, остановив кружение веретена, перекрестилась.

Сережка глянул на божницу, но свет от лампы не достигал угла, и святая дева Мария, и Христос, и какой-то еще главный непонятный Сережке бог таились во мраке. А вот простенок между окнами был освещен, из рамки, сделанной отцом еще до войны, спокойно и прозорливо смотрел в будущее великий вождь народов — портрет Сталина отец вырезал из газеты.

Мать до войны богу не шибко поклонялась, когда гром гремел над головой — крестилась, иконы в красном углу содержала в порядке — на всякий случай; но и не ругала мужиков, когда они, приходя к отцу, советовали пустить «Исусика» на растопку. «Хорошо горит!» Как ушел отец на войну, мать вольностей по отношению к богу не допускала. Да и богохульничать стало некому.

— Умерла?!— тут только дошел смысл материных слов.

Ласковая была баба Фрося, добрая. Все деревенские ребятишки летом в ее огороде паслись: морковку ели, огурцы, мак, подсолнухи шелушили — для баловства в своих огородах деревенские и до войны мало сеяли, а у старухи Терентьевой половина огорода одним только горохом была занята, и каким-то чудом все у нее раньше поспевало.

— Я уж отчаялась с нашими курицами,— вновь крутилось веретено,— да ты помнишь, а тут как-то зашла к ним, теперь уж забыла зачем, она стала спрашивать про тебя, да про наше житье-бытье, ну, я и пожаловалась ей на нашу беду. «О-о,— говорит,—что ж раньше не пришла не спросила? Есть средство: перышков чесночных нащипли да в гнезда положи». Я бегом домой и сделала, как она велела. А баба Фрося той же ночью померла. Хворала она, совсем слабая была. Пока хоронили, я про кур у Нюрки не справлялась, забыла, а когда вспомнила — никаких клещей уж не стало.

У Сережки комок к горлу подкатил. Он любил бабу Фросю, как и все деревенские ребятишки, пользовался ее добротой и досаждал, случалось, шалостями старухе. Не догадывался тогда по материному письму: «...а кто по деревне помер, потом сам увидишь». Уже не

испросить прощения за причиненные обиды.

— Нюра-то в школу у нас не ходит,— продолжала мать, немного погодя,— учить некому: учительница твоя, Марфа Андреевна, успокоилась от старости. Ее, бывалыча, хвалили на правлении, что исправно все сдает: и деньги, и молоко, и яйца. Да. А у нее ведь, кроме кур и петуха, ничего во дворе не было. Все — за деньги. Зарплату свою изведет, а не рассчитается — на деньги теперь что купишь? Ну, у нее были скопленные на книжке до военной поры, и еще — колечки и сережки разные драгоценные были — от матери ей остались, мать у нее не из бедных — так она все отдала. На танк, если, говорила, ее сбережений не хватит, пусть люди добавят.

Рука матери дрогнула, нить оборвалась, веретено покатилось по полу. Сережка поймал его, подал. Свою нитку, уже натертую варом и частью скрученную на колене, отпустил, она раскрутилась. Вот так и внутри Сережки: что-то рвалось, скручивалось с каждым материнским словом, ходило кругами, неумолимо приближаясь к неведомой запретной точке. И, наконец, жаром ударило в сердце; оно сбилось и замерло: что с отцом? Не спросил давеча второпях у сестры, есть ли письма от него, и она словно забыла сказать. Про Костю мигом наболтала:

— Друг твой жениться будет на Акульшиной.

— Тебя на свадьбу звали?— съязвил Сережка.— Откуда знаешь?

— От верблюда! Ребеночка она родит скоро, куда он денется?

— Ври?!

— Ничего не вру! У Шурки одна пуговичка на пальте уже не застегивается — вот!

Мать послюнила пальцы, потеребила куделю, вплела в нее оборванную нить, пустила веретено.

— Вот и смерть пришла,— и словно забыла, о чьей смерти говорит, вопрошающе посмотрела на сына, потом вспомнила:— Да, померла Марфа Андреевна — единой крошки в доме после не нашли, и дров — ни полена. Рассчитала, стало быть, что топить в зиму ей не придется.

Пять лет ходил в школу к Марфе Андреевне Сережка, совсем недавно, кажется, учила она его азбуке, учила писать, журила с улыбкой, когда он слизывал языком кляксы... И — нет ее больше на этом свете. Уже две зимы пропустил Сережка, началась война — кончилось его ученье: в шестой класс в Семеновку надо было ходить или в райцентр ехать, а тут работа навалилась. Так что была Марфа Андреевна первой и единственной Сережкиной учительницей и останется ею навеки. Что же такое творится — почему уходят хорошие, дорогие сердцу люди?

— Маленький ребеночек у Боковой Анны от болезни помер,— продолжала перечислять мать,— бог прибрал, потому что всех не прокормить. И так еще, слава тебе, господи, шестеро. Завидовали, бывалыча, ей, говорили: богатая, что ни год, то с прибылью. А теперь на убыль пошло: мужа убили, дитя померло.

— Что с папкой, мама?!

Мать перестала прясть, посмотрела на Сережку печально:

— Кто знает, сынок, что с ним? Последнее письмо еще при тебе было.

«Без вести»,— вдруг явственно слышится Катин голос. Она говорит о своем брате, голос ее дрожит, наливается тоской и болью, усиливается и ударяет, будто язык колокола изнутри в горячую Сережкину голову. «Не ве-рю! Без вести. Без...»

Вырвалась из рук скрученная дратва, Сережка наклонился было за ней, но не поднял, выпрямился с трудом, чувствуя, что все вокруг него закачалось и поплыло, как на волне, и сам он стал невесомым.

— Что-то лицо у тебя разрумянилось?— мать, взглянув мельком на Сережку, воткнула веретено в куделю, поднялась со стула, приложила приятно-прохладную ладонь ко лбу сына.— Да у тебя жар! Господи, твоя воля...

На какое-то мгновение рука матери вернула Сережку в реальный мир.

— Ничего, мама, не бойся, я крепкий,— сказал он и тут же почувствовал, как на него навалилась тяжелая беспросветная тьма.

Снова, как в городе два дня назад, Сережка погрузился в беспамятство, на этот раз надолго.

Глава 7

Две недели метался Сережка в бреду — вновь по команде лейтенанта Вахрамеева добывал под палящим солнцем тяжеленные бревна из реки, окунался в ледяную воду, проваливался в темный трюм и, ожидая удара о жесткое дно баржи, весь сжимался и покрывался потом. Но удара не следовало, и он все падал и падал вниз, преследуемый безжалостным взглядом из-под припухших прищуренных век. «Одним едоком меньше!» А потом долго, задыхаясь от напряжения, лез по бревну на мерцающий в вышине свет, но оскользался и опять падал (переживая ужас падения в сотый, а может быть, и в тысячный раз).

Временами бред перемежался сном. Сны тоже состояли из прошлого, но случались в них не только страшные дни и часы, но и светлые минуты, когда живы были все: и отец, и похожий на него замасленным комбинезоном Катин брат, и Марфа Андреевна — почему-то с ребеночком Анны Боковой на руках, и баба Фрося. Баба Фрося улыбалась Сережке всем своим морщинистым лицом и ласково звала:

— Иди сюда, родной, здесь хорошо.

— Да, иди к нам,— говорила и учительница и, поворачивая голову так, чтобы прядь седых волос, падавшая ей на лицо, не мешала видеть Сережку, зачем-то протягивала навстречу ему малыша.

Очнулся Сережка ночью. Тихо. Открыл глаза. Коптила лампа на столе, мать сидела рядом, уронив голову на сложенные на спинке стула руки, дышала ровно.

«Долго же я дрых»,— подумал Сережка, смутно припоминая, что он, кажется, вставал, и даже не один раз, куда-то двигался и что-то делал, а рядом с ним неотлучно была мать и руководила им.

Но Сережка ошибался. Мать обихаживала его только ночью, а днем она уходила на ферму, потому что скотину голодную и недоенную не бросишь. Заменить некем. Другие доярки и хотели бы помочь, но ни сил, ни времени у них на чужую группу коров не оставалось. Мать исхитрялась в эти дни делать все быстрее — выкидывать навоз, давать корм, доить — выкраивала время и прибегала домой два, а то и три раза в день. Тревожно вглядываясь в сына, убеждалась она, что душа в нем еще теплится, давала наставления Нюрке и уходила снова, чтобы везти солому с поля, опять доить, крутить — по очереди — ручку сепаратора... Молоко в райцентр не возили: далеко и накладно, рассчитывались сливками и маслом. Эта круглосуточная круговерть, она знала, кончится однажды тем, что в свой час она тоже упадет и не поднимется. Но иного выхода у нее не было, от ее жизни зависела жизнь всех ее детей — не только старшего — и мать держалась; неизвестно, кто кого больше спасал: она их, или они ее.

Сережка чувствовал легкость и невесомость в теле, будто бы бревна, которые так долго давили его, наконец свалились. Но одновременно с легкостью владело им ощущение немощности — надо бы повернуться, а он не мог, не умел этого сделать, как младенец, только что народившийся на свет. Еще он боялся потревожить сон матери и потому лежал не шевелясь и старался дышать бесшумно. Однако сторож, недреманно живший в ней, толкнул ее.

Мать подняла голову, встретила взгляд сына.

— Слава богу!— выдохнула она.

Сережка подумал, что сейчас мать заплачет, и деликатно отвернулся. Но глаза ее остались сухими, в них даже угасла вспыхнувшая было радость — так она устала.

— Желтый,— сказал Сережка, глядя на портрет в рамке.

— Что?— не поняла она.

— Надо сменить Сталина, пожелтел.

— Тсс!— приложив палец к губам, мать оглянулась в испуге. Нюра и Мишук крепко спали.— Где теперь возьмешь? Потом. Ты только не говори им, ладно?

Вот так она и раньше: вскидывалась почему-то настороженно, если кто из детей произносил имя вождя, и останавливала строго, строже, чем когда задевали бога: «Нельзя!»

— Есть будешь?— мать от усталости с трудом выговаривала слова.

— Пить. Молочка бы...

Мать помогла ему сесть. У Сережки от движения все закружилось перед глазами, затуманилось, но вскоре прояснилось и стало на место. Она взяла со стола стакан: — Кипяченое.

— Вкусно, — он осилил полстакана, и

его потянуло к подушке,— парного бы.

— Нету парного,— мать с трудом отвела взгляд от оставшегося молока,— корова уже не доится. Это тебе Шурка принесла.

Она вернула стакан на место.

Сережка пошевелил мозгами:

— Сколько же я болел?

— Я знаю?— она разговаривала уже не открывая глаз.— Долго.

— Ты ложись,— сказал Сережка.

Она покорно, словно бы только и ждала этих слов, побрела к топчану и не раздеваясь, как куль, повалилась на него.

Отец, может быть, письмо прислал, а Сережка не спросил у матери и досадовал на себя, пока тоже не уснул.

— Ничего не прислал,— сказала сестра Сережке утром.— А мамка-то не встает.

Мать проспала утреннюю дойку, не поднялась к обеденной, и ни на какие попытки Нюрки разбудить ее не реагировала. Тогда Нюрка решила подоить коров сама.

— Вы поживите тут без меня,— сказала она братьям,— я пойду. Мишутка подаст, если чего понадобится.

Она уже оделась, но тут пришел председатель.

— Так,— сказал он вместо приветствия,— полный лазарет. Ты, значит, заместо матери пойдешь?

— Ага. Я умею, дядя Назар.

— Знамо дело,— председатель сел на табурет, поставил меж ног длинную палку, которой он пользовался как посохом; когда Сережка уезжал на лесозаготовки, Назар Евсеевич в подпорках не нуждался.— Выручай, Аннушка, больше некому. Я сказал бабам, чтобы взяли по две-три из вашей группы, но остальные, значит, твои.

Нюрка ничего не ответила, ждала, что еще скажет председатель. Он молчал, словно забыл, где он находится, и думал лишь о том, как лучше прожить минуту покоя, столь неожиданно выпавшую ему. На впалом лице его, поросшем седой щетиной, застыло выражение заботы, которую не избыть вечно даже тогда, когда Назар Евсеевич успокоится в могиле. Заметно сдал председатель за время, что Сережка не видел его.

— Ты хорошо дои,— наказал Мишук сестре,— а то дедушка Назар тебя палкой!

Младший брат долго смотрел на посох и, наконец, додумался, для чего он нужен.

— Она хорошо подоит,— пообещал без улыбки Назар Евсеевич, — А я не дерусь.

— Так мне идти?

— Да, иди.

Нюра ушла. Назар Евсеевич посидел в раздумье еще минуту, положил руку на плечико Мишутке, который, услышав, что председатель смирный и не дерется, осмелел и терся у его колена, вздохнул:

— Вот так, Михайло Павлович, давай расти скорее на подмогу: на тебя вся надёжа.

Наказ Мишука сестре — хорошо работать — председатель примерил и на себя: все ли делает он ладом в хозяйстве, доживут ли колхозники до весны, не протянут ли бабы ноги? Кажется, навел малый на дельную мысль. Когда осенью рассчитались с государством и отвезли сверх плана — «наш подарок товарищу Сталину»,— остались в амбарах кроме посевного материала кое-какие крохи, не учтенные уполномоченными. Хотел зажилить до весны этот остаток Назар Евсеевич, но бабы взяли его «за зебры»:

— Не крути, председатель, говори как на духу: семена с избытком?

— Какой там избыток...— начал было Назар Евсеевич.

— Подохнем,— предупредили бабы.— На ком тогда пахать станешь и кто будет сеять?

Известное дело, набить брюхо картошкой можно, но силы в ней нет; хоть сколь-нибудь хлебного добавлять надо, иначе —голодно: многие поколения на хлебе взращены, и без него люди слабнут. Порешили правленцы: выдать по сто пятьдесят грамм на трудодень работающему и по пятьдесят добавить ему на иждивенца. Но чувствовал Назар Евсеевич: уполномоченный не зря в последний свой приезд в амбары заглядывал — глаз положил. Приедет перед весной «раскулачивать»— опять «на подарок» или соседям на сев заставит раскошелиться.

На току, в стороне от других амбаров, стоит еще один, небольшой и негодный с виду: солома на крыше обдергана, дверь

щелястая без замка и на одном крюке болтается — уполномоченный к нему не подошел, а там было что посмотреть. Амбар-то внутри на две половины разделенный, и вторая — исправна, с хорошим запором, и крыша на той стороне в порядке, но, главное, все сусеки в той половине с зерном. С тем самым «излишком», который хотел приберечь председатель до самых голодных весенних дней.

Правильно мыслил: зиму бы и так протянули, а перед посевной поддержка ох как нужна! Но и не без греха была думка. Председатель открещивался от нее, запихивал в самый темный угол эту грешную половину, но она и оттуда высовывалась, как гвоздь, и раздирала душу: если слабые, которые не работники, до тепла не все выдюжат, то зачем на них хлеб изводить? Пусть уж больше пахарям достанется. Паскудная мыслишка, прямо сказать — сволочная, и слава богу, что не по его воле вышло. Раздали зерно — отпала эта болячка, но все равно совесть мучает: кажется Назару Евсеевичу, что каждый покойник беспощадным судией на том свете его дожидается; и воины, живые и мертвые, тоже спрашивают: «Как же ты допустил, председатель, что люди мрут?»

Какие у колхозников были глаза, когда в полной тишине на весы ставился очередной мешок, какое смирение — не забыть!

Брали зерно из всех амбаров понемногу, чтобы не очень приметно убыло. Людям все равно, из какого сусека им нагребут; амбарушко остался нетронутым. Тетка Манефа, кладовщица, помалкивает, раз молчит председатель, словно бы забыла, что у нее на отшибе амбар полный. Ушлая старуха.

Надо позаботиться, чтобы и в следующий приезд уполномоченный о том зерне не проведал. Спасибо мальцу, надоумил...

Назар Евсеевич коснулся ладонью Мишуткиной головы, поднялся со вздохом, пожелал всем Узловым здоровья и вышел.

Мать проснулась утром следующего дня точно в свой час, затемно, управилась, как всегда, по хозяйству дома и ушла на ферму. Там ей ничего не сказали, и она сперва не знала, что проспала сутки, только удивлялась, как это халат и подойник оказались не на тех местах, где она оставила их с вечера.

Глава 8

В тот день вскоре, после того как ушел председатель, появился новый гость. Брякнула щеколда в сенях, распахнулась дверь в избу, и вместе с клубом морозного пара на пороге появился Костя.

— Ко мне не лезь,— сразу же предупредил он Мишутку,— я холодный!

Сдернув рукавички, сунул их в карман полушубка — отцовского, конечно, прошел и сел у койки, широко расставив ноги в больших серых валенках. Устроился основательно. Они некоторое время смотрели с Сережкой друг на друга молча, будто знакомились заново. От Кости пахло табаком и навозом и веяло уличной свежестью.

— Женишься?— спросил Сережка.

— Кого там,— у Кости обозначилась на лбу морщина.— Женился.

— Че говорят? Рано?

— Хэ! Работать — так большой, а как жениться — маленький. На лесозаготовки — опять мужик.

— Когда?

— Прямо щас. Повидаться зашел,— Костя поскреб обветренный и уже слегка покрытый светлым пушком подбородок.— Как там, шибко тяжело?

— Есть маленько,— Сережка усмехнулся, кивнул на одеяло, под которым почти не было заметно его тела.

— Ага. Хорошо, что домой успел добраться,— Костя, отвернув полу, достал из кармана брюк кисет, повертел его в руках и сунул обратно.— Одна тетя Валя вернулась ничего. Правда, худая, как смерть, и кашляет, но это, говорит, пройдет.

— Как одна, — испугался Сережка.— А с Натальей и Аришкой что?

— Не знаешь? Наталья немного того,— Костя коснулся виска пальцем,— ее тамошний начальник спортил. Ну, Аришка не далась, так он ее поставил на место, где двоим мужикам не управиться было. Надорвалась.

Костя опять вынул кисет, нервно теребя его, смотрел на друга глубоким незнакомым взглядом, будто прокурор.

— Вдовушек ему мало?!

Столько ненависти было в Костиных словах, что Сережка не посмел что-нибудь ответить.

— Моя говорит: «Все. У Аришки никогда уже не будет ребеночка». Ты

можешь это понять? Нельзя бабе пуп рвать, не лошадь,— Костя опустил взгляд, стал разглядывать свой валенок.

— Женщина — существо. Для другого назначена.

Костя помолчал, не поднимая головы, потом продолжил в ненарушенной тишине, словно бы не с Сережкой разговаривал, а с самим собой:

— Ну мужики — ладно. Наше дело — воевать и угробляться. Но бабы и детишки чем провинились?— Костя оглянулся на спящую Александру Касьяновну, убавил голос.— Это как же надо людей ненавидеть, чтобы такую войну учинить?

Сережка надел полушубок, запахнулся, застегнул пуговицы, которые мать перешила для него чуть не под мышку, опоясался ремнем. Он сильно вытянулся за время болезни, полушубок отцовский наладили ему и шапку приспособили — стянули подкладку нитками, чтобы не болталась на голове. Одеваться надо тепло, чтобы опять не простыть, его недавно определили ездовым вместо деда Задорожного, который не умирал и не поправлялся.

Мучаясь между жизнью и смертью, дед Задорожный в лучшую минуту заботился о колхозных делах, главным образом о лошадях, наказывал Сережке, чтобы не обижал животных.

— Любить всякую тварь — это закон божий, — говорил дед, — он в живой душе посеянный и взрастает от ласки. Кто любит, того и ответно полюбят. Ласковый человек завсегда счастливый, сколько бы зла на него ни наворотили.

В худой час дед стонал и бредил в беспамятстве, собирался к богу и спорил с ним, и ругался самыми поносными словами, ничуть не лучше тех, которыми костерил фашистов, когда узнал, что они пошли войной на нашу землю.

Сережка прошмыгнул в конюшню быстро, чтобы не напустить холода, притворил за собой широкую дверь, постоял, привыкая к полутьме. Конюх Антипыч, хромой допотопный старик, явился, конечно, на конюшню затемно, убрал катыши, дал лошадям сена, надел на морду Гнедому тощую торбу с овсом. Управившись, привалился к вороху сена в углу и придремал. Деревянный пол конюшни подмерз у дверей, но дальше воздух, заряженный ароматом конского навоза и пота, был значительно теплее, чем на дворе, и по-своему свеж.

Стараясь не шуметь, Сережка снял с кованого гвоздя, забитого в стену, хомут Гнедого, надел себе на шею, потом и дугу — туда же, в руки — седелко и вожжи, вынес все, положил в кошеву. В Ждановке почты не было, и ему предстояла поездка в Семеновку с письмом, которое дал председатель с вечера, и с посылками на фронт, приготовленными сельчанами к Новому году. Посылки надо было забрать из правления.

Сережка походил вокруг саней, поджидая, когда жеребец управится с овсом; дверь конюшни отворилась, Антипыч высунул бороду:

— Запрягай. Пока ты собираешься, он свое схрумкал. Ага.

Сережка пошел за конем. Дед уже снял пустую торбу с морды Гнедого — тот недовольно мотал головой, не желая менять вкусный овес на холодные удила уздечки.

— Стой, говорю! Ага. Вот на.

Сережка взял повод, снял со стены кнут, вывел коня, поставил между оглоблями: «Стоять!»— взял из саней хомут.

— Ага,— Антипыч прихромал следом, ему хотелось поговорить.— Ишь, стервец, овса ему. Завсегда так: кто возле начальства — тому хлеб, а кто пашет — тому сено, а то и солома.

Увидев перед собой сбрую, Гнедой привычно подставил голову. Сережка надел хомут, принес дугу, наклонился за оглоблей — конь косил умным глазом за Сережкой, изредка посматривал и на старика: куда девалась торба? Не углядел, повернул голову, дохнул Сережке в лицо, пошлепал недовольно влажной губой.

— Щас поедем,— сердце Сережки неизменно щемило, когда он видел в упор понимающе-терпеливые лошадиные глаза, ощущал тепло, исходящее от сильного тела животного, и чувствовал готовность его повиноваться малейшему желанию человека.

Гнедого Сережка любил особенно: конь был красив. Это чудо, что его не забрали в кавалерию — военный фельдшер-ветеринар нашел у коня какой-то серьезный изъян в зубах. Гнедого берегли, сколько

можно, не впрягали в тягловую работу, холка у него не потерта, как у других лошадей, и спина не избита. Он не успел износиться и охотно, без понуждения, откликался на призыв к бегу.

— Подмогнуть?

— Сам!— Сережка продел в гуж конец дуги, обошел Гнедого, зацепил другой конец, быстро и ловко стянул дугу, упираясь в хомут ступней, затянул супонь, кончик ремешка завязал петелькой — все одним неразрывным движением.

— Ага,— одобрил Антипыч.— Ты, Сергей Палыч, в туе сторону шибко его не пускай, не дай ему упреть, а то застудишь, пока с почтаркой будешь заниматься.

— Ладно,— Сережка прыгнул в кошеву, и Гнедой играючи вынес сани со двора.

— Синё,— щурясь от сверкающего на солнце снега, Антипыч глядел с удовольствием, как из-под копыт Гнедого брызнули мелкие осколки, когда он взял с места.— Славный день.

Старик нисколько не обиделся, что Сережка не удостоил его разговором — так даже лучше: начнешь балаболить по пустякам, да вдруг и обмолвишься о том, чего никому говорить не следует.

А зудело. Очень хотелось похвалиться надежному человеку тем, какую они с председателем штуку втайне спроворили. Месяц тому назад или чуток поболее, когда сильных морозов еще не было, пришел Назар Евсеич на конюшню, повздыхал возле лошадей, которых в колхозе осталось так мало, что если бы раздать их по дворам, как в пору единоличного хозяйствования, то ни одного справного крестьянина в деревне бы не оказалось — хоть всем миром ступай в батраки наниматься.

— Дожили до последней бедности,— Антипыч хорошо понимал председателя.— Как будем державу кормить? Сиротская наша жисть.

— Сироты и есть,— ответил Евсеич, проходя в пустовавшую часть конюшни и как-то по-особому, словно пробуя на прочность, ступая по земляному здесь полу. — Хороший хламник.

Поломанные сани и телеги, колесные ступицы, лопнувшая дуга, рваные хомуты и прочая рухлядь — все было здесь, натащили со двора: целее будет что-то, если руки приложить, пойдет когда-нибудь в дело.

Антипыч хромал следом, силился уразуметь, что надумал председатель, Евсеич заинтересовался кривым и ржавым ломиком, поднял его, прислонил к стенке. Потом нашел совковую лопату без черена и ее с довольным видом положил возле ломика.

— Чего будем рыть?

— Вот и я думаю: ежели из дому лопату принести, то вся деревня начнет соображать: «А что наш председатель и где копает?» Штыковую бы еще найти.

— Ага. Есть такая. Я небось чищу тута. И где будем закапывать?

Назар Евсеевич посмотрел на конюха недовольно:

— Ох и дошлый! Что собрался прятать?

— Я?!— Антипыч поразился, что председатель вдруг вздумал хитрить, когда дело ясное.— Амбарушко ты, я думаю, вознамерился опустошить. Манефа-то что говорит?

— Н-да,— Евсеич потрогал щетину на подбородке.— Ущучил. Безо всяких следователей.

— Ага,— приосанился дед.— В Японскую меня два раза в разведку посылали, я все высмотрел и ни разу не попался. Да! Японец — ворог хитрый! Не по-нашему гыргочет, не по-русски думает — поди угадай его! Я...

— Ладно,— не стал слушать знакомую историю председатель,— тут не разведка, а партизанское дело. Набрось на свой роток большой платок, чтобы ни одна живая душа... За Манефу не бойся: она баба с мозгом, знает, чем тут пахнет.

Назар Евсеевич пробрался к стене, ткнул пальцем под ноги:— Здесь. А там, где стоишь, надо отгородить соломой: коням будет теплее.

— Ага, понял. Будет сполнено! — На следующий день приступили. Оттащили старые сани в сторону, сдвинули телегу и рухлять — копал председатель в одиночку, вечерами; Антипыч охранял, чтобы кто-нибудь нечаянно тайную работу не обнаружил. Верхний слой земли председатель откинул в угол, прикрыл соломой, а глину, в двойном куле, чтобы

через дерюгу земля не трусилась и не оставляла следа, выносил с оглядкой в овражек за конюшней. Работал часа полтора-два, не больше, чтобы люди не обратили внимание, что председатель слишком долго где-то пропадает. Потом яму маскировали: кидали поперек ее две доски, на них — сани, телегой преграждали к яме ход. В первый же вечер Антипыч сказал:

— Однако, Евсеич, нам с тобой могилка получается, аккурат на двоих. Мелковата пока, дак углубим.

— Иди карауль, а то застукают нас тут, как тараканов на столе.

— Тама заперто у меня.

— Ступай, мало ли что: вдруг стучать начнут, а мы с разговорами не услышим.

Уходя, председатель напоминал каждый раз:

— Не болтай! Завяжи тряпкой рот, будто зуб болит, и молчи.

Дед рот не завязывал, но людей сторонился, что по довоенным временам вызвало бы удивление и вопросы, но теперь не казалось странным.

Больше двух недель готовил хранилище для зерна Назар Евсеевич, вырыл три отсека, укрепил стенки, утоптал дно, соломы настелил. Перед решающей операцией дал себе и деду два вечера для отдыха. Самое опасное было — перевезти зерно, чтобы никто не заметил. Мешки приготовили заранее, дождались вечера, к счастью, не очень холодного — снег не сильно скрипел, и сделали две ходки. В следующий вечер — еще одну. Поверх соломы набросали, присыпали землей и хорошенько утоптали.

Манефа в деле не принимала участия, хворала, ключи от амбаров по такому случаю были у председателя.

Когда все кончили, сели в деннике на солому рядом, не веря благополучному исходу, посмотрели друг на друга.

Посылок набралось семь — по числу фронтовиков, которые считались неубитыми; — в небольших фанерных ящичках, видимо, с сухарями и салом, остальные — в тряпичных упаковках. Была здесь небольшая посылка и отцу. Рукавички шерстяные связала мать и носки, зашила вместе с табаком в неизношенный угол старой простыни.

Табак в Ждановке раньше не сеяли, бабы стали выращивать его уже после начала войны. Некоторые и курить научились, чтобы узнать, из чего более крепкий самосад получается — из листьев или стеблей? Говорили, что курево хорошо голод перебивает. Сережка пока не пробовал, мать не велела.

Писем от отца не было, и посылку мать подписала на прежний адрес, полагая, что коли жив старший Узлов,— должен быть живой, иначе прислали бы им посмертную весть,— то приписан все к той же своей части, а уж там знают, где его сыскать.

На выезде из деревни Сережку остановила Петровна, старуха деда Задорожного, подала белый сверток, видимо, тоже с рукавицами и табаком, такими же подарками, какие были в большинстве посылок, сказала:

— Увезешь моему Ванечке, а?

Сережка ничего не ответил, положил сверток в сани, в глаза Петровне старался не смотреть — трудно было видеть ее вопрошающий взгляд, в котором читалась мольба: «Не говори, что моего Вани больше нет!» — и: «Скажи, что он еще вернется!»

Сыновей у Задорожных было четверо, все ушли воевать; там их убивали по старшинству; когда очередь дошла до самого младшего — когда пришла похоронка на Ваню — Петровна с его смертью не согласилась, тайком от своего старика продолжала писать сыну письма на фронт. Советовала младшенькому беречь себя, подолгу на сырой земле не лежать, а уж коли придется, то подстилать соломы или веток, чтобы не простудиться, как это случилось с ним позапрошлой осенью, когда он, умаявшись на току, уснул за амбаром. Лечиться теперь нечем, ни меду нет, ни варенья. И редька на огороде нынче не удалась, чем-то порченная...

На письмах Петровна фамилию сына не указывала, писала: «Самому храброму герою». Теперь вот и посылку собрала меньшому к празднику и адресовала ее все тому же герою.

Изредка Петровна получала ответные треугольнички, в них бойцы обещали: «Мы отомстим за Вашего сына, Мама!» Тогда Петровна на своих слабых ногах добиралась до правления и с торжеством

в голосе говорила: «Вот — мне от Вани письмо пришло, прочитайте».

Бабы сморкались в платки, читали и плакали. А Петровна слушала их и светлела лицом, будто и вправду верила, что как только настигнет возмездие самого последнего ворога, так и объявится ее сын среди живых и пришлют ей с фронта самую радостную весть. Не могла она допустить мысли, что Задорожных извели под корень и что со смертью старика и ее самой прервется навсегда их родовая ветвь.

Глава 9

За деревней — простор. И великая тишина. Казалось, вся земля, весь мир обрядился в два цвета — синий и белый — и отдыхал после праведных трудов.

Невозможно было поверить, что где-то грохочут пушки, рвутся снаряды, визжат пули и кричат и стонут люди.

Санный путь размечен кое-где точками конского навоза — словно на огромной белой странице оказались незаполненными судьбы, прерванные в далеких от дома краях, а взамен поставлены многоточия. Или это Сережкина линия жизни проступала пунктиром, уводя за собой неспешно, но и неотвратимо?

Гнедой бежал легко, полозья скользили почти бесшумно, изредка выбивая на раскатах снежные фонтанчики. Душа купалась в сине-белом приволье. Сережка радовался солнцу, свету, движению: всей грудью вдыхал морозный воздух и с каждым вздохом чувствовал, что наполняются у него не только легкие, но и весь он ширится и растет, словно сказочный богатырь. И едет он средь искрящегося на солнце снега уже не на почту с посылками для фронтовиков, а в тридевятое царство на выручку тамошнего народа, и ждет его в тереме назначенная ему судьбой принцесса.

Прежде Сережка иногда вспоминал Катю, но без фантазий, ничего не добавляя к тому, как он ее видел в реальности. А вчера вечером, когда дома заговорили о поездке в Семеновку, что-то в нем дрогнуло и воображение заработало, невольно подыскивая подходящую обстановку и слова будущей встречи.

О Кате подумала и мать.

Вечерами, когда начал выздоравливать, Сережка рассказал матери, как ему работалось в городе и как он сумел добраться домой. Обо всем понемногу: о баржах и лейтенанте, о казенной кормежке, о попутной машине и ночевке в стогу; о семье, приютившей его на ночь, и наконец, о селедке, которой он с ними поделился. Мать внимала ему молча, изредка покачивала головой, подтверждая, что так оно все и должно быть. Быстрые спицы мелькали в ее руках, подхватывая слова на лету и вплетая их вместе с нитью в вязанье. Когда он упомянул о пропавшем без вести хозяйском сыне, мать насторожилась, замерла на мгновение, будто петли считала. А имя девушки, показалось Сережке, повторила беззвучно — запомнила.

Сережкина поездка в соседнюю деревню ее встревожила.

— Ты...— начала было и замолчала.

Но Сережка сразу — не умом понял, а сердцем почувствовал — о чем ее беспокойство. Мать не хотела, чтобы он встречался с людьми, чей родственник пропадает в неизвестности. Кроме суеверного чувства, что такая встреча, как и всякий другой грех, совершенный дома, каким-то непостижимым образом навредит мужу, ее тревожила забота о детях. Если после многих дней неизвестности обнаружится, что старший Узлов тоже, как и Катин брат, пропал без вести, то потом ведь могут припомнить люди, что между семьями безвестно пропавших отчего-то вдруг дружба завелась...

Раньше, когда взрослые чего-то недоговаривали, Сережка не обращал на это внимания — мало ли? У детворы и то свои тайны есть. Неизвестно в какой момент он переступил черту, отделявшую его от мира взрослых, но теперь он знал, что в жизни их, простой и обыкновенной с виду, есть глубинное движение со своими перекатами и опасными подводными камнями.

Мать так и не сказала ему, чтобы он к знакомым не заезжал, отвела взгляд и ссутулилась над кухонным столом.

Хоть Сережка и не собирался нежданным гостем опять явиться в чужой дом, но неосознанная надежда на случайную встречу с Катей где-нибудь на улице тлела в душе слабым огоньком и сладко томила душу. Припомнив безволвную ма-

терину тревогу, Сережка притушил свой уголек.

Вольный воздух заснеженного простора все глубже проникал под полушубок, знобил тело; Сережка придержал Гнедого, выскочил из саней и, не выпуская из рук вожжей, побежал рядом.

Почта в Семеновке размещалась в деревянном домишке, который отличался от других деревенских домов лишь тем, что не стало с некоторых пор вокруг него ограды. Сережка подъехал прямо к крыльцу, захлестнул вожжи вокруг столба, стояк был новый, струганый, и одна ступенька была заменена чьей-то уверенной рукой, занес сперва посылки в ящичках, потом остальные, сложил все на специальный небольшой столик, сколоченный из некрашеных досок, пристроился за женщиной, которая уже отдала сверток за барьерчик и ждала с деньгами в руке, когда ей скажут, сколько надо заплатить за отправку.

Еще две женщины стояли в сторонке, сдали свое и, дожидаясь подругу, негромко переговаривались, переживая важное для себя событие.

В помещении было чуть теплее, чем на улице, топили, видно, мало, да и не каждый день, поэтому и та, что принимала посылки, была в фуфайке, застегнутой на все пуговицы; платок у нее сбился на затылок, и видны были темные волосы с мазками седых прядей на висках. Еще одна женская фигура, но без ватника, в серой длинной кофте, двигалась по ту сторону барьера: уносила посылки в чулан за небольшой дверью.

Сережкина голова была забита разными важными мыслями: надо было отдать председателево письмо, в котором какая-то серьезная бумага в район; он впервые отправлял посылки и не знал, требуется ли от него что-нибудь, кроме платы; соображал, как ему не перепутать сдачу; волновался: не будет ли на этот раз среди писем письмо от отца? Он лишь мельком взглянул на ту, вторую женскую фигуру за барьером, и хотя она показалась ему знакомой, он не дал себе труда задуматься — кто бы это мог быть?

— Сережа! Мама, это тот самый Сережка!— неожиданный возглас застал его врасплох, и он не сразу понял, что это относится к нему, а не к какому-то другому Сережке. И голос будто знакомый.

Он поднял голову и растерянно посмотрел на женщину в кофте, но она закрыла лицо руками и странно всхлипывала: то ли смеялась, то ли плакала — не разобрать. Внезапно до него дошло, что в старческих одеждах не пожилая женщина ходит, а — Катя. Оттого, что не ожидал ее увидеть здесь, она скользила для него серой бестелесной тенью и не задержала на себе внимание.

Сережка смутился. Но ему было приятно и радостно, что девушка его узнала; захотелось подойти к ней и спросить что-нибудь. Неважно что — узнать, может быть, ожила ли та старушка, что умирала на печи... Но он не посмел, постеснялся. Он только стащил зачем-то шапку с головы и, переминаясь на месте, ждал, когда она откроет лицо, и тогда он ей скажет: «Здравствуйте». Смутным облаком плавала в сознании мысль: «Почему она сказала «Мама», — если матери у нее не было?»

Не видел Сережка в ту минуту, как поднялась из-за стола и пошла за барьером к нему почтальонша. Она вышла к нему, толкнув ногой деревянную дверку и, обняв, уткнулась лицом ему в щеку.

Он слабо вырывался, веря и не веря, что давняя полумертвая старуха и вот эта сильная женщина — один и тот же человек. Катя подошла и смотрела на мать и Сережку сияющими глазами.

И бабы придвинулись. Они знали историю с селедкой, на деревне ее пересказывали со все новыми подробностями не один раз. Рассказывали, как чудесно излечилась жена Ивана Матвеевича, а еще больше — о том, что пришло на следующий же день, после ухода большеглазого и белоголового мальчишки, письмо от пропавшего сына Иван Матвеевича из госпиталя, сын оказался потерянным из-за ранения.

Старухи, верующие богу, утверждали, что не обыкновенный парнишка заходил в дом Ивана Матвеевича, а посланный богом, и не в селедке была исцеляющая сила, а в воле господней, слове заветном, которое тот парнишка знал.

— Ишь ты!— бабы радовались вместе с Катей и ее матерью и, удивляясь, что похожий на ангелочка мальчишка — не выдумка, дотрагивались до него в надежде, что им он тоже принесет счастье.

Катюша выскочила вслед за Сережкой на крыльцо:

— Сережа, письма!

Он положил письма в шапку, шапку опять надел, улыбнулся.

— Все молчишь. Даже не поговорили. Уже уезжаешь? Бабушка, знаешь, за тебя каждый вечер молится. Мамка с того дня как пошла, как пошла... Жить, говорит, хочу. А ты здорово вырос.

— Иван Матвеевич на работе? — придумал, что спросить Сережка.

— Нет! Он воевать ушел! Отремонтировал вот крыльцо и ушел.

— Да? А разве...

— Ой, его не звали. Сам. Сказал, что не старый еще, что мальцов берут, а он не хуже. За Сережку, говорит, за Васю...

— Мне не скоро. Я не успею.

— Ага. Мамка плакала: «Нас не жалко?» Да, у нас же радость: Вася нашелся в госпитале, скоро должен приехать...

— Замерзла, — перебил ее Сережка, видя, как она дрожит, — иди оденься.

— Л-ладно, — сразу согласилась она. — Погоди, я — живо!

Вот какая она стала, прямо песни поет! Да и у Сережки от известия, что Катин брат нашелся, будто обруч лопнул, сжимавший ему грудь.

Сережка отвязал вожжи, Гнедой обрадованно переступил ногами. «Тпру!»

Катя выбежала тотчас, вновь раздетая, только полушалок на плечи набросила. Спустилась на нижнюю ступеньку, совсем близко к Сережке, лицо ее побледнело.

— Я, знаешь, что тебе хотела сказать?

— Что? — спросил Сережка и почувствовал, что краснеет.

Она потупилась, несколько раз чиркнула носком валенка по неистоптанному краю новой ступеньки, взглянула на него, не поднимая головы, словно хотела повиниться перед ним.

— Сережа, — сказала негромко, — ты, ты, когда надумаешь жениться... возьми меня.

Сережка онемел. Она подняла голову, глаза были полны слез.

— Ты не думай... Я буду любить тебя и всегда-всегда буду жалеть.

Сережка продолжал стоять столбом. Вдруг она качнулась к нему, поцеловала прямо в губы, оттолкнулась, вихрем влетела на крыльцо и скрылась за дверью.

От неожиданности и от толчка Сережка сел в кошеву. Гнедой принял это как команду возвращаться домой и рысью взял с места.

Сережка сидел, свесив ноги из саней, пока Гнедой не вынес его за деревню, а потом им овладело беспричинное веселье, он засмеялся, поднялся на ноги, прибрал вожжи; конь, почуяв хозяйскую руку, прибавил ходу.

— Э-эй! — одобрил коня Сережка, покрутил кнутом над головой, и они помчались.

Полозья саней бились о выбоины на поворотах дороги, словно стремились выбросить возчика на белоснежную простыню поля, но Сережка стоял крепко, грудь его распирало от восторга быстрой езды и непонятной гордости. А когда они влетели в белоствольный березовый лес и деревья хороводом заплясали вокруг саней, Сережка и вовсе захлебнулся радостью и забыл на время о всех бедах и напастях: о войне, о полуголодном житье, о письмах в шапке, на которые он не взглянул и не знал пока, кому добрые вести шли, а кому — страшные.

Фронтовые письма были без конвертов, писали их на одной стороне листка, складывали листок треугольником, сверху — адрес; если кому надо проверить, о чем пишет боец домой, пусть разворачивает и смотрит. Горе шло осиротевшим детям, женам и матерям в аккуратных казенных конвертах, заклеенных и со штампом вместо обратного адреса. Одно такое письмо вез и Сережка в Ждановку.

Неожиданно конь притормозил, всхрапнул и рванул вперед с удвоенной резвостью. Сани дернулись, Сережка едва устоял на ногах.

Показалось Гнедому, что за деревьями мелькнула серая тень, или ему почудились запахи зверя, но он помчался от опасности во весь опор. Страх его невидимой волной окатил и Сережку. Но только мгновение озноб погулял по спине, Сережкино настроение оказалось сильнее — он не запаниковал и не утратил радостного ощущения жизни, крепче сжал вожжи левой рукой, надел ременную пет-

лю кнутовища на правую. Кнут — серьезное оружие. Сережка оглянулся — преследователей не видно; на всякий случай сделал пробный замах и...

Кончик кнута предательски обвился вокруг ветки, рывок — и земля встала на дыбы: Сережку винтом выдернуло из саней. Сани уже выкатывались из леса и поравнялись с последней березкой, она и встретила ездока.

Сережка ударился затылком и распластался на рыхлом снегу; кнут тихой змейкой соскользнул с ветки и одновременно с хозяином послушно лег рядом; письма разлетелись веером; березка окропила Сережку снежинками со своих ветвей, но это ему не помогло, он потерял сознание.

Конь, дико кося глазом, наддал еще; кипела грива, летел снег из-под копыт — безмерный ужас пустых саней подгонял его. Гнедой со всего хода влетел на конный двор и встал, как врос, перед изумленным Антипычем.

Старик, задрав бороду, некоторое время всматривался в пустую кошевку, словно надеясь, что Серега учинил шутку и сейчас объявится, потом запустил матюгом, метнулся к конюшне, ухватил наперевес прислоненные к стене вилы, свалился с ними в сани:

— Пошел!

Когда Сережка очнулся, то не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Боли он не чувствовал, но все в нем онемело и замерло, будто во сне, в котором надо бежать или обороняться, а страх сковал тело. Даже память не могла пошевелиться, и он не помнил, почему и для чего он лежит здесь. Видел березу над собой и синее небо, и в голове было так же просторно, как вокруг.

Вынырнула из леса стайка снегирей и уселась на ветках — перед тем, как покинуть лес и отправиться на поиски корма в другие места, или, поразмыслив, вернуться обратно. Красиво, будто яблоки в райском саду.

Ветерок приметил нарядную березку, подвернул с поля, обошел вокруг, погладил светлые Сережкины волосы, обнаружил письма, потрогал, нашел себе по силам — широкое, в конверте — да и улизнул с ним. Унес письмо, написанное незнакомой рукой, о том, как долго страдал от ран и ожогов сержант Узлов, и умер, и похоронен далеко от фронта и вдали от дома. Унес письмо, как последний привет пахаря осиротевшему полю; или, может быть, ветер позаботился о его родных, чтобы они не узнали о постигшем их горе.

Вилы не понадобились. Антипыч остановил коня, испуганно косящего в сторону распластанного под деревом человека, поспешно вылез из саней, и, проваливаясь в снег, закултыхал к Сережке. Присел рядом:

— Ты чегой-то?

— А? Сейчас, отдохну чуток.

— Ага, — Антипыч взял Сережку за плечи, с трудом посадил. — Я думал: волки. Язви их!

Сережка засмеялся — почувствовал: руки-ноги вернулись к нему.

— Снегири улетели.

— Ха-ха, — старик отозвался булькающим смешком, — снегири? Испужал, чтоб тебя черти не утащили!

Антипыч подобрал шапку, отряхнул ее от снега, нахлобучил Сережке на голову.

— Ой! — Сережка пощупал затылок. — Шишак хороший.

— Ага. Заживет, ничо.

Антипыч увидел письмо в снегу, потом еще два, поднял; щурясь, осмотрелся кругом, спросил озабоченно:

— Все, что ли?

Сережка стал на колени, потом поднялся, покачал головой, будто проверяя, не выплеснется ли из нее что-нибудь; на старика посмотрел растерянно — не знал, что ответить. Он помнил выражение Катиного лица, руку, протягивающую письма, сколько их и какие — забыл начисто.

Глава 10

Март выдался таким же строптивым, как и февраль. В первых числах пригрело, на солнечной стороне дома, на завалинке, снег потемнел и прохудился, с крыш свесились сосульки, возле крылечка после полудня образовалась лужица, которая к вечеру застывала и хрустела под ногой. В последующие дни ветер понатащил с севера туч, стал вытряхивать из них густые хлопья снега; снег укутал все дома и всю землю заново. Временами

снегопад прекращался ненадолго, выглядывало солнце, а потом снова ветер хлестал по просторам и вновь затевал снеговую канитель. За несколько дней до апреля зима выдохлась окончательно: отдельные облака высоко в небе уплывали на восток, воздух резко потеплел, сугробы обмякли и стали оседать, того и гляди побегут ручьями.

Сережка в предпоследний мартовский день закрутил, наконец, последнюю гайку, залил в бак три литра керосина, с трепетным сердцем попытался завести трактор. Бился он с полчаса, пока не понял, что надеждам его не суждено сбыться. Двигатель даже не чихнул по-настоящему ни разу. Сережка вышел из сарая на волю, обессиленно опустился на черный от мазута чурбак, привалился спиной к саманной стенке и замер.

Незадолго до того, как он осознал свое поражение, свидетели его позора разошлись, но все равно на душе было тяжко.

На него надеялись... Антипыч ушел к лошадям, управить их на ночь; Манефу-кладовщицу лихоманка приносила зачем-то на мехдвор — тоже ушла, молча, но уж в деревне поговорит; новый председатель, Семен Тимофеевич Гриньков, оставляя круглые следы на мокром снегу, удалился на своих обрубках, тоже не обронив слова. Только Гошка Буркин, здоровый, глуповатый парень, всегда сонный и свирепо голодный Сережкин помощник, остался возле трактора, там дотлевал костерок, и Гошка млел над ним, чтобы тепло не пропадало зря.

Отцовский трактор, железный конь на четырех колесах, перешел к Сережке от Мишки Жданова. Мишку, вскоре после наступления Нового года, взяли в военное училище. Полных восемнадцати ему еще не было, но для училища это, стало быть, неважно. Гошку тоже вызывали в военкомат, но он военному начальству чем-то не показался, и его развернули домой. Райвоенком сказал, что Гошке надо дозревать, что до Гитлера он не успеет добраться, из чего Гошка сделал вывод, что война скоро кончится. Он был немного разочарован, потому что надеялся, что на фронте кормят лучше, чем дома, но раз скоро победа, то Гошка готов и потерпеть: после победы, говорят, хлеба будет вдоволь. Сережке он подчинялся безропотно: Сережка должен был довести до ума начатый Мишкой Ждановым ремонт трактора, вспахать весной и засеять поле, на котором вырастет тот самый долгожданный хлеб.

Помощник из Гошки аховый. Подтащить, поддержать — куда ни шло, а вот гайку открутить или завернуть ему не дашь. Никак не мог он запомнить, в какую сторону ее воротить надо. Сила есть, раз сорвал резьбу, другой, а больше Сережка ему ключ не доверил. А у самого мощи не хватает, все руки в кровь избил, наплакался под трактором втихаря...

И — не заводится.

Две бочки керосина Назар Евсеевич припас еще с осени; неизвестно где добыл поршень с кольцами — с третьего или четвертого захода; в последний раз, говорят, увез из дома добрый кусок сала и с полпуда пшеницы. Эта пшеница, наверное, его и сгубила.

Однажды Сережка подслушал нечаянно разговор Назара Евсеевича с конюхом. Председатель сказал:

— Ну, держись, Антипыч! — тот поднял вопросительно бровь. — Едут, — добавил Назар Евсеевич.

— Ктой-то донес?

Председатель помолчал, устало вздохнул:

— Никто не донес, там — все известно, — криво усмехнулся, — Ты бога костерил?

— Дак за дело. Ага.

— Вот и он нас — за дело.

Уполномоченный, как и предполагал Назар Евсеевич, предложил «оказать помощь государству» хлебом.

— Так нечего сдавать, у нас на посевную только-только.

— Никаких излишков?

— Помилуй бог, откуда? — Назар Евсеевич повернулся к кладовщице. — Давай, Манефа, книги.

Она вздрогнула, хоть и ждала наготове с толстыми амбарными тетрадями, протянула их председателю, который сидел сбоку стола, Назар Евсеевич передал тетради уполномоченному, тот занимал председательское место. Уполномоченный полистал замусоленные страницы, сделал

вид, что удостоверился в правильности записей, повернулся к своим спутникам:

— Нету у них лишка.

Вместе с уполномоченным были еще двое. Один — известный всей деревне милиционер Санько, другого, с усами и в гражданском сером костюме, Назар Евсеевич видел впервые. Они устроились возле печки, которая топилась в конторе по случаю приезда начальства. Оба ничего не ответили, только усатый кивнул головой — понятно, мол.

Потом уполномоченный спрашивал поочередно колхозниц про зерно, получали или нет? Бабы не отпирались. Давали, как же. Сколько? Дак мало совсем. А точнее? И кто распорядился? Писал у себя в бумагах. Покончив с допросом, опять обратился к председателю:

— Так что же получается, Назар Евсеевич, хлеб по домам растащили, а говорите, что сеять нечем будет. Нехорошо обманывать государство.

— Почто обманывать? — обиделся председатель. — Нам это не годится, на вранье не проживешь. А хлеба дали немного за трудодни. Надо народ пожалеть, совсем-то без хлеба нельзя.

— Ах, вон что! Пожалел, значит. Была такая директива? Не было? — повернулся в сторону печки: — Что будем делать с этим жалельщиком?

Тот, что в гражданском, проверил большим и указательным пальцами щеточку усов, сказал нехотя:

— Пусть соберет.

— Нечего собирать! — Назар Евсеевич приложил руки к груди. Ему казалось, что этот человек немного сочувствует ему. — Сколько было той выдачи? Съели давно.

— Ладно, — уполномоченный решительно положил ладонь на лист бумаги,— напиши, сколько пудов вы обязуетесь сдать ко дню нашей славной армии, и — дело с концом!

— То есть как? — Назар Евсеевич попытался заглянуть уполномоченному в глаза. — А сеять чем станем?

— Ты мне эти кулацкие штучки брось! — окрысился тот. — Нашел, что раздать, найдешь и сеять. Иначе... — побарабанил пальцами по столу.

Назар Евсеевич свесил голову низко-низко, худые плечи его торчали как стропила, руки комкали шапку.

— Ладно, — сказал глухо, — пишите документ, что распоряжаетесь сдать зерно, я — сдам.

— О! — усатый первый раз взглянул на председателя с интересом. — Свежая мысль! — поднялся, прошелся к окну и обратно; на ногах у него белые бурки, и ступает он ими по некрашеному полу мягко, неслышно, будто боится нарушить тишину, в которую он аккуратно укладывает неторопливые тяжелые слова:

— Придется, товарищ председатель, поехать с нами. Поговорим обстоятельно — ты слишком умный.

Домой Назар Евсеевич не вернулся. Дней десять спустя, уже в марте, позвонили из района и сказали, что надо выбрать нового председателя. Кого выбрать — не сказали. Пришлось решать самим, и новым председателем стал фронтовик Гриньков.

Первая встреча Сережки с Семеном Тимофеевичем произошла в начале зимы, в тот день, когда он вышел после болезни на улицу. Был тогда Сережка слабым, голова слегка кружилась, и когда он глянул наискосок через дорогу, то решил, что опять бредит. Над плетнем двора Гриньковых сам по себе гулял топор. Сережка крепко зажмурился, постоял так немного, открыл глаза — видение не пропало. Он пошел потихоньку туда и увидел, что во дворе коротконогий человек, обутый в безносые кожаные самоделки и одетый в зеленую стеганку, мощными ударами крушит ограду. Оттого, что ноги у него заканчивались сразу ниже колен, руки казались несуразно длинными.

— Сергей, что ли? — мужчина опустил топор, оперся на него, как на трость. — Узлов? Ишь ты, вырос. Ну заходи.

— Здравствуйте, дядя Семен, — Сережка тоже узнал соседа. — Что вы делаете?

— Дрова заготовляю. Пока голова думает, как жить дальше, руки должны работать.

Первое время после возвращения домой Гриньков больше сидел в избе, в колхозе дела ему не находилось. Он мог

бы, например, шить хомуты или гнуть дуги, да не было такой надобности. Так и просидел несколько месяцев — домохозяином. Потом, незадолго до того как увезли Назара Евсеевича, по деревне новость прошла: безногий, мол, бабу свою обрюхатил. Говорили с осуждением будто, но и с усмешками — чему-то радовались люди.

Когда встал вопрос о новом председателе, не долго думали и не спорили — мужика надо ставить — выбрали Гринькова.

Гриньков тоже, как и Назар Евсеевич, человек хозяйственный и разумный; другое дело, что оказался нервным недавний солдат, вспыльчивым. Но на Сережку он не шумел, может быть, потому, что сам в технике разбирался слабо, а точнее — никак.

Первое время Семен Тимофеевич до правления на санках добирался, в которые жена впрягалась, однако это — непорядок, Антипыч стал Гнедого к председательскому двору по утрам подгонять. Все же, случается, когда недалеко, Гриньков и на своих двоих ковыляет, небольшой тросточкой-самоделкой помогает и идет себе.

Снова приезжал уполномоченный, на этот раз с одним милиционером в сопровождающих, заставил проверить наличность семенного фонда. Вместе с Семеном Тимофеевичем два дня неотступно стоял в амбаре возле весов, рядом с Манефой; когда работу закончили, ничего не сказал, кривил губы и смотрел задумчиво и рассеянно.

— Как там наш Назар Евсеевич? — отважился и подступил к нему Антипыч, хотя, признаться, на ответ не надеялся.

— Болеет, — лаконично сказал уполномоченный.

— Ага. Хворает, дело известное.

Потом Антипыч изловил за амбаром и милиционера и задал ему тот же вопрос.

— Отправили туда, где похуже, — Санько успел выменять в деревне на кусок материи добрый шмат сала и полкуля картошки и был настроен благодушно. — Чтобы не умничал.

— Гдей-то может быть хуже? — поинтересовался Антипыч, но на этот вопрос ответа не получил.

В тот день, когда увезли Назара Евсеевича, Антипыч показал Сережке, как главному теперь колхозному пахарю, где находится тайник с зерном.

— Ежли что, ежли и меня заметут, — Антипыч был готов к такому повороту дела, — то знай: здесь семена. Ага. А наказ председателев такой: пустошку за овражком распахать и засеять. Землица там отдохнула, хороший урожай будет.

Но Антипыч остался вне подозрений уполномоченного: глаза у старика слезились, когда его о чем-нибудь спрашивали, он прижимал плечом здоровое ухо и выставлял другое, контуженное, не слыша того, о чем его спрашивали, вполне натурально отвечал невпопад; стар и глуп — ясно было любому приезжему.

Ну и председатель в тех разговорах, для которых его пригласил в город человек в сером, про Антипыча, похоже, не упомянул.

Ждановка осиротела без Назара Евсеевича, оставался он в деревне как бы за отца всем, от мала до велика. Свет померк для Сережки, и мир пошатнулся, когда тронулись от крыльца правления сани, в которых горбился, отворачиваясь от людей, председатель.

Сережка решил написать письмо товарищу Сталину, попросить, чтобы защитил Назара Евсеевича, потому что председатель у них хороший и все силы кладет для народа и для всей страны. Он даже спрятал часть семенного зерна, чтобы по норме сеять, а то у них всегда семян не хватало; осенью большой урожай можно собрать.

Подзабыл за два года Сережка грамоту, тогда как и раньше в грамматике не слишком был силен — как посылать дорогому вождю письмо с ошибками? Стыдно. И все равно бы написал Сережка письмо, но откладывал, потому что надеялся сперва, что Назара Евсеевича все же отпустят домой. Разберутся и отпустят. Но вдруг по деревне стали шепотом передавать друг другу новость, будто бы умер председатель в городе. Известно, мол, это от надежного человека.

Так быстро все свершилось... Никакое письмо уже не поможет.

День догорал. Солнце укатилось далеко на запад и там опустилось на снег: снег заалел. Земля, перечеркнутая длинными тенями, готовилась к ночи, последней, быть может, перед окончательным наступлением весны.

Буркин спросил у Сережки разрешения и ушел домой. Сережка, разогретый было возней с трактором, чувствовал, что скоро начнет мерзнуть, но не шевелился. Околеет — так ему и надо! Плохой из него ремонтник: не сумел запустить трактор. Как теперь смотреть в глаза людям? Конечно, колхозники и без Сережки справятся с весенней страдой, и если даже последние лошади передохнут — на себе вспашут и засеют поля, без хлеба армию не оставят. Но какой ценой? И так уже, наверное, ни одного здорового человека в деревне не осталось. Когда все бабы надсадятся, что же тогда им делать — идти всем по миру? А кто милостыню будет подавать?

«Краник!» — Сережку аж подбросило от догадки. Отец ли придумал и впаял под баком второй, потайной, краник, или на заводе он был поставлен, Сережка не знал, но вспомнил, что спрашивал отца когда-то, зачем перекрывать горючку в двух местах. И ведь снимал бак для промывки, видел и повертывал рычажок, как же забыл-то?

Первый выхлоп, как выстрел, а потом двигатель затарахтел ровно, прошивая сумерки до самого дальнего края деревни, и дальше вел строку — в поле, в небо, в мирную сытую и счастливую жизнь. Не только у Сережки учащенно забилось сердце, когда трактор завелся, во всех домах напряженно прислушивались: не прервутся ли снова давно позабытые звуки? Сережка представил, как сестренка Нюрка замерла, затаив дыхание, среди избы, а Мишук изумленно вытаращил глаза; мать, наверное, перекрестилась: «Слава богу!» Зато Антипыч сразу доверился тракторному рокоту, хитровато прищурился и, выставив большой палец, подмигнул старухе: знай, мол, наших!

Как он не своротил стенку — не понять, ничего не видел от волнения и радости. Выехал из сараюхи, сделал круг по двору, другой, нарисовал восьмерку...

Обратно въехал аккуратненько. Заглушил мотор. Тишина. Только стучит в висках, да в ссадинах отяжелевших ладоней торкается боль. Устал. Устал безмерно, до полного опустошения. Радость погасла, потускнели и отодвинулись в прошлое, как в далекое детство, переживания минувших дней. Что-то в нем свершилось окончательно и бесповоротно, будто отворилась перед ним дверь, в которую он стремился, пропустила и закрылась беззвучно за спиной. И нет дороги назад, а впереди опять все то же: трудная бесконечная работа и ожидание.

Без всякой связи с тем, о чем думал, чем жил все последнее время, представил вдруг: у Кати в руках было четыре письма. Антипыч подобрал из снега только три. И Сережке, только что переступившему порог невидимой двери, стало ясно: то, пропавшее, было об отце.

Куталась в сумерки опечаленная земля. Ветер отыскал где-то вытаявшую из снега полынь и донес ее горький аромат под крышу вместе со свежестью весеннего поля. Поле, поле. На дальнем конце его, у березового колка, виделась Сережке заветная поляна, на которую никогда уже не придет отец. Там, в память об отце, о всех погибших на фронте и умерших в тылу, обильно зацветут ковыли, серебристо-светлые, чистые. Земля всех приняла и простила: деда Задорожного и его воинов-сыновей, бабу Фросю и младенца Анны Боковой, учительницу Марфу Андреевну и Назара Евсеевича...

Когда-то вырастут новые поколения, не изведавшие голода и холода, нечеловеческой усталости и смертельной тоски о погибших — этих спутников войны, будет вырублен в беспамятстве березовый лесок и распахана ковыльная поляна. Да и поле захиреет, и деревня. Но это — потом.

А пока Сережка ясно видит, как зеленеют и колосятся хлеба, слышит, как звенят жаворонки в синеве, чувствует, как похрустывает под ногой осенняя стерня, на которой в отдалении пасутся степенные серые журавли; на утренней зорьке журавли покинут поле: поднимутся в небо, выстроятся клином на юг, уронят на землю прощальный привет и растают вдали: в родные края птицы вернутся весной.

Война уходила на запад. Война должна была умереть там, где родилась.



Анатолий Байбородин

В ТЕРПЕНЬЕ, ЛЮБВИ И МОЛЬБЕ

ОЧЕРК

1

Еще незадолго до того, как я узнал Алексея Васильевича Зверева поближе, вышел у меня один случай, так прямо и связанный с его повестью «Гарусный платок», позволивший мне как бы взглянуть на прозу Алексея Васильевича глазами самого народа, запечатленного в повестях и рассказах. А было все так...

В одно лето довелось мне гостить в забайкальской деревне у старухи, которая доводилась родней. Старуха была немного грамотна и на старости лет к диву и потехе своих соседей и товарок привадилась к чтению. Навеличивать ее книгочеей было бы грешно: по многу недель, урывая час-другой у вечеров, мусолила она какую-нибудь зачитанную в труху, не имевшую порой ни корочек, ни начала, ни конца, выжелтевшую книжку. Таким вот, истрепанным по рукам, с пропавшими, изъеденными корочками, она больше доверяла, чем новеньким, блескучим. Книжки она брала у соседей вместе с заемной солью, с чаем и сахаром, и частенько тут же и возвращала назад, недалече учитав. Трудно было ей угодить: про одни книжки она брезгливо говорила: дескать, пустые, вранье на постном масле, про другие, казалось бы, самой русской жизнью писанные, ворчала: мол, сто верст до небес — и все лесом, пока до дела доберешься, из силов выбьешься.

Старика своего она давненько уже схоронила; кормильцы-поильцы, как у нас нынче в заводе, разлетелись по белу свету рыскать долюшку. Нашли они ее по городам и северам, бог весть, но обратно, в деревню, их, конечно, уже никакими калачами не заманишь, никакими батогами не загонишь — отбились. Поначалу, еще тоскуя по деревне, наведывались чаще, но со временем стали забывать дорогу к дому и осталась старуха кругом одна. Поукочевала близкая родня, поумирали многие старые товарки, зато понаехали шумные, хмельные поселенцы, которым было мало дела до старухи. Согнутая в клюку, шоркала она потихоньку по деревне, подбирая всякие щепочки, корынки на ростопку, а то и пустые бутылки, которые мыла и сдавала — все какой ни на есть приварок к двадцатирублевой пенсии. Корову она, ясное дело, давно уже не держала, и молоко, чтобы подбеливать чай, брала у соседей. Но, хоть и немочь одолевала, хоть и всю разламывало перед непогожьем, огородом не попускалась: чуть не ползком ползала по грядам, а картошку сеяла.

— Картошку выкопал, в подпол ссыпал — душа на спокое: с голоду не пропадешь, — хвасталась она. — Хлебушко прикупай, чаю да соли, и можно жить не тужить. А на хлебушек, слава те господи, пока хватает — пенсию дали...

Как смалу впряглась в колхозную работушку, так и до старости не разгибала спину, и вырешили ей, как и всем нашим колхозникам,

вынесшим на своем горбу войну, — двадцать рублей с копейками. Живи, бабка, радуйся, и ни в чем себе не отказывай — заслужила.

Жил я у старухи больше недели. И помню, как-то вечером зашла она в махонькую, низенькую горенку, где я спал, и попросила чего-нибудь почитать на сон грядущий. Было у меня искушение, прямо-таки зуд, сунуть ей свой рассказик, напечатанный в альманахе «Сибирь», но только я об этом помыслил, глядя на усохшую, скрюченную, одинокую как перст старуху как вдруг рассказик увиделся мне таким бесстыдно придуманным перед лицом скорбной жизни, таким лукавым, что я готов был порвать его с досады, не говоря уж о том, чтобы дать его старухе. И тогда я решил вручить ей книгу Алексея Васильевича Зверева, а потом спросить мнение о книге, вернее сказать, — о повести «Гарусный платок», которую незадолго перед тем прочел.

Нацепив круглые очки, где вместо дужек были привязаны петли из ссученной дратвы, устроившись под лампочкой на кухонном столе, повертев книгу и так, и эдак, стала она читать, мерно шевеля одрябшими губами и пришептывая. Читала она несколько вечеров кряду, закладывая странички желтым и хрустким листком отрывного настенного численника и водружая поверх книги свои очки.

Иногда вдруг остановившись, точно выбившись из моченьки, заворачивала ко мне за крашеную переборку и с заслезившимися глазами начинала вспоминать о своем предвоенном сиротском девичестве, когда не в чем было выйти на мост, где над речкой пели и плясали парни и девки, и приходилось ей подсматривать из-за кустов, зариться, точить сердце слезами. Горькие песни сложились в русском народе о сиротском девичестве, когда ни батюшки, ни матушки, чтоб к венцу благословили, когда не то что приданого, а и на люди выйти не в чем. А уж столько народу в нынешнем веке осиротело по России, что и страшно сказать, как будто и сама Россия вдруг осиротела... И если бы не потаенная, осветляющая вера в то, что по слезам нашим отпустится счастья в тихой, навечной обители, вряд ли выстоял бы народ в долгие лихолетья, в голоде, холоде, в колхозном бесправии, в колхозном же непосильном труде. Не выжил бы, озлобился, истребил друг друга, утратив из души последнюю, невыразимую в словах и даже в чувствах, заветную надежду.

Почитав еще, — а читала она, как я говорил, «Гарусный платок», — отложив книгу, на мой нетерпеливый вопрос о впечатлении лишь досадливо отмахнулась рукой и весь вечер говорила о том, как мыкала горе в войну, когда на руках у нее оказалось трое ребят и старики — свекор со свекровкой, когда приходилось, с грехом пополам урвав времечко от колхозной работы, поздними вечерами подметать ирниковым веничком сжатое поле, особенно в тех местах, где стояли раньше суслоны ржи, а потом отвеивать землю и толочь эту жалкую жменю зерна в ступе. Потом еще и доводилось раскапывать норы-урганы и в поле, и на току, отбирая хлебные запасишки у степных сусликов и мышей полевушек.

Мне было в диво, что старуха вдруг разговорилась, хотя перед тем с такой неохотой ворошила свою жизнь перед войной, в войну и сразу после нее; может быть, не хотелось лишний раз бередить душу, травить ее страшным воспоминанием, а может быть, интерес мой казался ей праздным, насмешливым. О том, что пережило их поколение — мертворожденная коммуна, пустившая по миру тысячи хозяев, коллективизация, сгубившая многие миллионы русских крестьян, потом измысленная еще Троцким колхозная жизнь, мало чем отличная от крепостничества и рабства, бесправная, беспаспортная, с конским трудом и ничтожными трудоднями, с довременной старостью и грошовыми пенсиями, а уж потом война с голодом и холодом, — обо всем этом я имел, конечно, самое смутное, почти книжное представление — кстати, у Зверева обо всем этом и читал — хотя коечто слышал и от матери, и от старших довоенных братьев, которым приходилось обдирать собак в нашем огороде за баней и есть собачину, чтобы не пропасть с голоду. Но воистину, воистину сказано, что сытый голодного не разумеет, или уж какое по нашим немилосердным, деловитым временам нужно иметь солнце, чтобы оно было способно ис-

кренне, в полную свою силу переживать чужое горе, как свое. Вот потому-то мне было неловко перед бабкой, совестно глянуть ей в глаза; чуял я тогда глухую стенку, разделяющую нас, которая как будто не давала проникнуть стылому дождю в теплый и сонливый мир моей души.

* * *

После я еще раз спросил: хороша ли повесть Зверева, и опять вместо ответа получил долгий рассказ о ранешней жизни. Но даже о самом горьком из той жизни говорила она с легкой, лишь немного опечаленной, подсиненной слезами усмешкой, в какой разом светились и удивление — будто и не с ней случилось все — и грусть, какая всегда долит нас, когда мы поминаем детство.

— Голодом жили, холодом, смерти насмотрелись, а и не всё же ревушком ревели, не все одной работушкой увеселялись, а и пели, бывало, и плясали почище нонешнего, — вспоминала старуха, и я представлял, опять же помня рассказы и повести Алексея Васильевича: до чего же похоже в своем горе, в неунывной терпеливости, в сердечной взаимовыручке, в горьковатом и отчаянном веселье жили тогда люди по Сибири, да и по всей от самого нынешнего веку страдающей Руси.

Дочитав книгу до того места, где Минька, до срока скорбно замужичевший, купил своей сестре гарусный платок, старуха сняла очки, часто заморгала глазами, и прямо на лист, на мелкие буквицы пролилась слеза.

«...Он надернул на себя шапку и выскочил на улицу.

— Коня пошел поглядеть. Хозяин! — проводил его добрым взглядом Спиридон. Минька вошел в избу с мешком. Со дна его достал платок, развернул, всплеснув им так, что углом одним платок на кровать лег, а другим разметнулся летним лугом по полу.

— Вот, Лидка, тебе. Бери, — сказал он, а Спиридон руками замахал:

— Получай, Лидка, Минькин подарок! Ради него брат сто верст отмахал. У! Красотища-то какая!

— Гарусный! — воскликнула хозяйка. — Таких теперь днем с огнем не найдешь. А новешенек-то!

— Неношеный, — сказал хозяин.

Жених взметнул платок к самому потолку так, что ветерок по избе пошел, и набросил его на плечи Лидке.

— Идет-то как тебе, Лидуха! Это, Минька, ты здорово сообразил. Это на долгую память. Так, что ли, Миня!»

Старуха плакала, краем запана докрасна растирая глаза и нос, плакала и приговаривала:

— Прямо, вылитый наш Ванюша, царство ему небесное, — перекрестясь, помянула она своего покойного сына. — Ишь ты, сам-то еще от горшка два вершка, на коня-то с телеги залазит, а ишь чего выговариват. Хлеба-то еще вдосталь не едал, а изладился, вон какой сестре гостинец отхватил. А я такой не нашивала сроду... — старуха опять было перекинулась на свою горемычную жизнь, но потом спохватилась и зацокала языком. — Ай-я-я-яй! А та-то, та-то, бедная, Лидка-то, нос-то еще путем не научилась выколачивать, а уж, горькая, замуж подалась, убегом кинулась, на детей пошла, не убоялась. Дак и одно спасенье... Ох, сына, сколь мы пережили, одна душа знат, да и та затаила...

Я, конечно, знал, — как уж говорил, по книгам да воспоминаниям родни, — сколько они пережили, и, думаю, не сыскать в мире народа, какой бы столько пролил крови своей, сколько перемучился, переломался за какие-то тридцать лет; а посему иногда прикинешь: да как же было русскому народу не загулять, не удариться во все тяжкие, чтобы хоть в вине, в грехе утопить мучительную память о пережитом, о своем бессилии перед злой недолей, перед чуждой волей, чтобы хоть во хмелю заиметь какие-то права, хоть в пьяном кураже заявить попранное достоинство и... на своем же ближнем и выместить все обиды за узаконенные оскорбления, унижения. Добра-то в этом, конечно, мало, разве что понять можно, пожалеть можно.

Слушал я старуху, и было мне, скажу, положа руку на сердце, совестно, неловко за свою молодость, за сытую жизнь перед ее

иссохшей и зачахшей жизнью, быстро и до дна выпитой колхозным и военным лихом, непосильным трудом и горем; стыдно было и за то, что я и мое поколение будто и не оценили жизнь, добытую ими с кровью и потом, распылили в хмельной и бесстыдной суете. Даже и песен-то их, какие пелись до того многие сотни лет, и тех не стали петь, побрезговали; да и сам их многотерпимый, жалостливый русский дух стал нам чуждым, непонятным и не по плечу.

А старуха плакала, и плакала как раз после того места, где Минька своей сестре-недоросточку вручает вроде как свадебный подарок; в этом месте (пусть хоть тут мне будет немного оправдания) и у меня перехватывало горло колкой сухостью и к моим глазам приступали слезы. Такое же горчайшее чувство, такие же светлые слезы одолевали, помню, еще только тогда, когда читал или смотрел Шолоховскую «Судьбу человека», и в том именно месте, где чумазый, оборванный парнишка-сирота кидается к Соколову на шею и кричит, кричит со слезами: «Папа, папочка!..»

Глядя на безголосо, одними закрасневшими глазами плачущую старуху, плачущую опять же, видимо, о своем, растревоженном повестью, мне подумалось: нет выше похвалы, выше награды писателю-сказителю, певне и вопленнице, чем такие вот святые слезы, избитые из самой настрадавшейся души, встретившей себе такое верное сочувствие, такую чистую ласку и любовь. Как для поэмы-плача, для русской причети высшей ценой было не наше восхищение словом, а наши очистительные слезы, так и здесь.

Я было еще раз заикнулся: хороша ли повесть, но так и не добился толку, будто старуха и не книгу вовсе прочитала, а прожила, как свою, чужую жизнь, мало чем отличную от собственной; прожила, не гневаясь и не моля другой.

* * *

Уже позже я понял, что ведь и повести, рассказы Алексея Васильевича Зверева — точно Минькин гарусный платок, подаренный родимым землякам, чтобы жили дружно, не обижали походя друг друга.

Как по синему морю, да океану
Качает девицу волной,
Да никто ее не пожалеет,
Да никому ее не жаль...

— поет бабка Луша в рассказе «Как по синему морю...» уже не нужную молодым русским нашу старину, напевая самое свое заветное.

Да никто ее не пожалеет,
Да никому ее не жаль...

Но писатель-то ее жалеет, бережет — любит, значит, как родную мать, как всякого живого человека, живущего пусть тихо и неброско, но только не лукаво, только с поклоном взрастившим и вспоившим роду-племени и всей земле русской.

Примечательно, что мнение старухи (а подобное я потом слышал не раз от простого народа), выраженное одним лишь сердечным порывом, благодарными слезами, оказалось сродни словам земляка, писателя Валентина Распутина, в упрек нашей нечуткой и несмелой критике достаточно высоко оценившего творчество Зверева. «И еще одно качество привлекает в прозе А. Зверева: она проста и незаметна, бесхитростна и скромна настолько, что у тебя нет ощущения чтения, труда от чтения, а есть ощущение движения вместе с автором и его героями, видения, слышания, участия во всем том, что делают они. Так, читая и словно не читая, радуясь, ненавидя, сокрушаясь, печалясь, соглашаясь и не соглашаясь, — проживая, одним словом, ту же самую, что и они, жизнь, подвигаешься потихоньку к концу повествования... Чувство прочности и надежности прозы, какой-то особой важности ее в жизни охватывает всякий раз меня, когда я читаю повести и рассказы Зверева. Чувство полного доверия к автору, ко всему тому, что и как он пишет, хотя письмо его, лишенное всяких литературных ухищрений, напоминает порой устный рассказ — со всем удивительным богатством народной речи, но и со всевозможной неприглаженностью».

...В Усть-Куду мы прикатили, ясное дело, на казенной легковушке, но мне потом вообразилось, будто ехали мы с Алексеем Васильевичем в санях, как в досельное время, как двести лет ездили устькудинцы в Иркутск, и, скажем, продав рыбеху, дрова, сено или намороженное кругами молоко, призаначив подальше выручку, накупив гостинцев домочадцам, возвращались назад — ехали не шибко, не погоняя закуржавевшего инеем, припотелого коня и, полулежа на овчинной дохе, брошенной поверх сена, вытягивали на весь санный путь степенную беседу, а то и заводили старинушку:

Во субботу день ненастный —
Нельзя в поле работать,
Нельзя в поле работать,
Ни боронить, ни пахать...

Ранние зимние сумерки. Мутно синий застоялый свет. Заснеженные увалы и чернеющие голыми сучьями березовые колки, издалека похожие на стриженые гривы коней, спящих по краям неоглядного поля. От берез четкие, длинные тени на сероватом иссиня, пушистом снегу. Хлебные поля, где на сыроватых буераках трепещут на ветру пучки соломы. Вдоль перелеска и реки, какую можно угадать по чернеющим тальникам и черемушникам, вихлеватый санный путь, через который, свиваясь косами, ползет легкая поземка; конь, запряженный в сани, виден на проселке темным, все мельчающим и мельчающим силуэтом.

Но мы тоскующим взглядом стараемся не отстать; неторопливо, с оглядом вокруг, все же поспешаем вслед за санями.

Тихо. Очень тихо, даже глухо — в такую тишь да глушь, говорят старухи, рождаются смирные, божьи дети, — слышно лишь, как утомленно поскрипывают полозья саней да мягко постукивают копыта лошади. Но в этот скрип, в этот мягкий перестук вплетается печальная песня, доносящаяся как будто из далекого далека. Песня — и раздольная, и печальная с грустным перезвоном поддужных шаркунцов — растет и полнится слезным томлением, и вот она уже зримо кружится над полем и березовыми гривами, возносясь к низкому небу, разбухшему снегами:

Люблю-у-д я сторону родну-ю-ууу...
Туда б летел я-д соколо-ом...

Потом песня спадает, и опять лишь слышен скрип полозьев, перестук копыт. А уж санный путь минует чуть видную из снежных суметов поскотинную городьбу с полуразвалившимися жердевыми пряслами, и вот уже чернеют бревенчатые заплоты, избы, амбары...

* * *

Сани сворачивают на одну из улиц Усть-Куды; старые, осевшие, дотягивающие второй век избы, а рядом — обшитые тесом, и бойко крашенные; заколоченные дома, а то и просто брошенные, чернеющие пустыми глазницами выбитых окон, вывороченных дверей, оголенные, открытые всем ветрам и вьюгам. Над живыми избами вздымаются в безветренное небо кошачьими хвостами сизые дымы. А сани наши подворачивают к воротам старой избы, небольшой, но еще крепкой, осадистой, и мы, разминая затекшие от долгого сидения ноги, с ласковой грустью всматриваемся в кондовые венцы сруба, в немудреные наличники....

Здесь родился и вырос в крестьянской семье сибирский писатель Алексей Васильевич Зверев, духом и письмом своим воистину русский народный писатель.

Со всяким полем и перелеском, со всякой приболоченной низинкой и речной излучиной у Алексея Васильевича воспоминания... и воспоминания, связанные не только со своим детством и отрочеством, а и со всей жизнью ранешнего и сегодняшнего деревенского мира. А уж про деревню Алексей Васильевич, удивительный рассказчик, мог бы говорить часами; чуть ли не про всякое второе подворье сказывал он истории, похожие на добрые байки, но чаще — горькие, отчего у меня и создалось впечатление, что и весь-то нынешний век для сибирской, русской деревни был сплошной горечью-полынью.

И все же свое, касаемое детства, родовы, видится теперь издалека лет более тепло и

солнечно, чем, может быть, и было вживе. Помню, Алексей Васильевич повторил в разговоре то, что в свое время записала критик Надежда Степановна Тендитник, исполнившая творческий портрет писателя; повторил, конечно, не слово в слово, но близко, а потому я и приведу здесь уже записанные ранее воспоминания: «Семья была большая: мать, отец, три сестры и пять братьев. С племянником доходила до двенадцати человек. Ни отец, ни братья в семье не курили, водка была редкой гостьей. «Нардомом» звала мать нашу избу. Все были певучие, сельские острословы. Свежее словцо долгим гостем жило в нашей семье... Постоянная нужда большой семьи толкала отца впоследствии на предприятия разные... перед революцией захотелось ему стать лавочником — и стал, а скоро прогорел со всеми потрохами... Мать тоже работала не покладая рук и нажила приличный горб. Кажется, она была умнее отца. В жизни она отводила или спасала его от многих необдуманных предприятий. В семье жило преклонение перед хлебом в поле и хлебом на столе. Отец имел привычку, поев, сгрести ладонью крошки со стола и бросить в рот. То же проделывали и мы, ребятишки. И это подсказывалось не скупостью, а своеобразным поклонением всему, что делается руками землепашца».

— Детство мое было счастливое, хотя бы потому, что вырос при отце и матери, — говорил Алексей Васильевич. — Нас было у родителей, как я уже сказал, восемь человек. Я предпоследний — все обноски были мои. Но жили мы все-таки лучше соседей: был свой кусок хлеба, был организатор нашей «орды»— наша матушка. Особое счастье мое — я был работник с шести лет. В ту пору я успел побыть боронягой и копновозом, пахарем и косцом, рыболовом и пастухом, жнецом и огородником, испытал множество других занятий и забот. Все это просто в дружной и работящей семье среди радостей и печалей, утрат и обречений, ласки и суровости. Чем дальше живу, тем больше понимаю, как много дало мне детство. И я счастлив, что очень рано приобщился к труду, это помогло мне потом жить...

Не свое ли счастливое земляной работушкой детство выразил писатель в рассказах «Пантелей», «Васька и Секол», в повести «Гарусный платок»?.. разве что у тех ребят, воспетых и оплаканных в сказах, малолетство вышло более печальным: Минька, осиротевший подростком, взваливший на свои плечи мужицкие заботы; Пантелеюшко, которого родня признала безумненьким, пропащим человеком; Васька, малец, военный страдалец, оберегающий мать.

* * *

Алексей Васильевич почти ровесник века, и все сложное, путаное, трагическое и кровавое, что выпало на век, вплелось и в судьбу писателя, братья которого сломя голову кинулись в коммуну, а отец, в свое время заводивший в селе лавку и быстро прогоревший, тем не менее был гоним как лавочник-кулак, что впоследствии больно отразилось и на детях, на Алексее Васильевиче.

— После гражданской войны, — вспоминал Алексей Васильевич, — когда продразверстка заменилась продналогом, наступил период нэпа, какой-то подъем крестьянский возник. Село обновлялось, перестраивалось, дряхлые избенки рассыпались, на их месте появлялись светлобревенчатые, чисто выструганные дома с нарядными наличниками, кружевными карнизами — была какая-то горячка строительная, кто лучше построит. Заводились «сакковские» заграничные плуги, сеялки, молотилки. Впервые в селе стали протравливать семена, заводить новые породы скота. Стали мужики поднимать залоги (корчевать пни, выжигать, то есть готовить новые земли). Поехали мужики с хлебом на базар, а возвращались с ситцем, обутками, разными городскими гостинцами. Люди повторяли слово «нэп», желали переменам благополучия и утверждения. И такой подъем очень был отрадным для деревни. Ну, не знаю, если б так оставалось, деревня еще больше бы окрепла в этот период... Начинала развиваться помаленьку кооперация. И вот пришла пора коллективизации, и все пошло прахом...

* * *

...И в ту нашу зимнюю поездку на родину писателя, и при встречах в Иркутске много я слышал от Алексея Васильевича о тех временах «великой ломки», которая не только Россию кроваво вздыбила и пустила по миру, но и по Сибири прошлась огнем и мечом. Нет, конечно, не все и тутошний народ увеселял свои сердца пляской и частушкой-тараторкой, не все же природным крестьянским ладом жили здешние селяне — нет, не познавшие на своем горбу бар-помещиков, не измученные «кулаками-мироедами», имевшие в достатке земли — только робь, не ленись — сполна тем не менее, как и все российское крестьянство, хлебнули горюшка. Гражданская война, кровь, смерти, растерянность, испуганное непонимание и неприятие братоубийства, отчаянье, а потом пробуждение, вера — земля крестьянам, а вместо отсуленной земли — коллективизация, коммуны...

Как теперь принародно признано и открыто сказано, трагическими стали для нашего российского Отечества, да и для всей Страны Советов, времена «мертворожденных коммун», времена коллективизации с ее заклейменными перегибами и пережимами. Как это до ужаса мягко сказано, ибо за этим кровь многих миллионов крестьян, ибо «перегибы и пережимы» стоили нам хозяина на земле. Под маркой кулака-мироеда, как писал академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов, приняло страдание, было репрессировано «значительно более десяти миллионов» радетелей земли, истинных хозяев, которые, будь они вживе и в здравии, передай они сынам и внукам свой многовековой хлеборобный хозяйский опыт, завалили бы наши рынки хлебом и всякой земляной овощью, да и заграницу бы накормили. Теперь-то и хлебушек в заморье привадились покупать... Раскулачивание сродни мамаеву нашествию прокатилось по России, и справедливо названо его геноцидом нации, что означает: повержен был цвет нации. Ведь Россия испокон веку была необыкновенно сильна крестьянином, мужиком. Недаром, кстати, народный агроном, Терентий Мальцев сказал однажды с великой горечью, что мы лишились в деревне мужика, остались одни механизаторы. А что такое механизатор: вспахал, засеял, а выросло, не выросло, зарплату ему за пахоту и сев выложи и не греши. А начни-ка вершить оплату по конечному результату, то есть, по урожаю и по качеству и съедобности того же плода земного, да не заплати-ка разок — тут же бросит председателю в лицо заявление об уходе, манатки некорыстные увяжет, подпояшется и дунет в какой-нибудь Ангарск, где очень вредное для здоровья химическое производство, но твердая зарплата, и зарплата немаленькая. Словом, те мучительные вопросы, какие даже не стоят, а топорщатся перед нашим сельским хозяйством, корнями своими уходят в коллективизацию, которая, повторю, не только извела хозяина, но и отбросила наше село далеко назад.

А потом и другие сельскохозяйственные реформы добавили...

— Помню, пришла пора коллективизации,— говорил Алексей Васильевич. — Принята она была нами, подростками, и молодежью романтически. Вроде шапками забросать хотели непонятного «внутреннего» врага; в душе жило отчаянье, отвага, геройство какое-то. А потом коммуна... Пришла мысль организовать комнату, брат мой стал организатором этой коммуны, и мы все, младшие братья, отправились в эту самую коммуну. Правда, отец с матерью не пошли в коммуну, они решительно отказались от этого дела... Стащили в коммуну все, что можно было, и зажили на два года какой-то лагерной, суматошной, вздыбленной жизнью. А в селе оборвалось обновление, заброшены были недостроенные дома, стали зарастать пырьем поля, убавилась скотина и прибавилась гулянка, и ко всему безразличие... В эти дни и я был коммунаром. Раз слышу, собрание идет на скотном дворе. Решают, кого послать учиться на зоотехника. Выдвинули меня. Дали мне в коммуне стипендию — полтора пуда хлеба в месяц. Это затем, чтобы после окончания техникума я вернулся в коммуну. И я уехал учиться. Но с родным селом Усть-Куда не порывал никогда. Там жили отец и мать, родня. Старик отец, средний крестьянин, кормилец страны, пошел собирать колоски, чтобы не пропасть с голоду. Это от

«счастья» колхозной жизни. А великие кормчие Сталин, Коганович и иже с ними в это время возглашали: «Жить стало лучше, жить стало весело, товарищи!» Помню, какая спущенная «сверху» злоба и взаимная ненависть воцарились между людьми. Каждый друг другу был «враг».

...Когда мы с Алексеем Васильевичем ехали зимней дорогой по усть-кудинской земле, то останавливались, и писатель показывал то место, где располагалась коммуна. Там, где теперь вдоль реки народился перелесочек, взошел густой кустарник, стояла коммуна; понизу, в пойме реки шли ее поля, а по гряде сухих увалов — худородные земли для крестьян-единоличников. И председательствовал в коммуне одно время родной брат Алексея Васильевича — грамотный, но молодой еще, зеленый, для которого таким непосильным ярмом оказалась коммуна, что диву можно даться, как еще выжил паренек.

Оглядевшись, повздыхав, мы снова сели в машину и тронулись в сторону деревни, и, помню, в ушах моих, народившись как бы против воли, зополошно звенела ходовая во времена «котлованов» и «ювенильных морей», в пору «чевенгуров», заполошная песня:

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка...

Да, конечно, с винтовкой иного пути уж не было...

Много пережив на этом самом «летящем пути», насмотревшись всякого, Алексей Васильевич тем не менее не озлобился сердцем, не зачерствел душой, сохранив какую-то детскую, улыбчивую доброту. И это подтвердит всякий родной и близкий писателя, всякий собрат по перу, поклонно и ученически относящийся к Алексею Васильевичу. Вот слова Василия Козлова, поэта, редактора альманаха «Сибирь», в котором за последние годы было сразу опубликовано три повести Зверева:

— Когда я говорю или думаю об Алексее Васильевиче Звереве, мне всегда отрадно, что в этом человеке воплотились так стройно, крепко черты, как мне кажется, русского крестьянина. А крестьянин был нетороплив, немногословен; если говорил слово, то был меток в слове, и всегда у него оставалось светлое виденье мира, всегда жила надежда... Вот и у Алексея Васильевича... Сейчас, когда преобладает в печати и вообще в жизни какой-то мрачный взгляд на жизнь, у него же в произведениях, даже касающихся мрачных страниц нашей истории, трагических страниц, остается место для света; и даже вот повесть, которая опубликована в альманахе «Сибирь» — она говорит о годах репрессий, — и там есть место для человеческого тепла, для любви...

* * *

Безжалостному времени, а вернее, безжалостным творителям его, мало было того, что человек бился в лихолетье «великой» и кровавой ломки, оно ему преподнесло и войну... Во второй год ее Алексей Васильевич окончил Военно-минометное училище, и воевал в 4-й гвардейской танковой армии минометчиком, вначале командиром огневого взвода, затем командиром взводоуправления батареи, а после командиром взводоуправления полка. Участвовал в Курско-Орловском сражении и в освобождении Правобережной Украины. В 1944 году был ранен, тяжело ранен, и до конца войны находился на излечении. Впрочем, это излечение не кончилось и по сей день, и поныне болят старые раны, как болит и душа.

— Война — штука отвратительная и тяжкая, — вспомнил Алексей Васильевич, — но она порождает великое братство и товарищество, и от этого до боли щемит сердце и бросает в тоску и в слезу, когда уходит из жизни твой военный друг... Дикость войны, подавление там всего человеческого меня угнетало. Я пришел на нее учителем, и оттого я хватался за единственное, что там осталось от души — за воинское товарищество. Будучи не воином по рождению, я наблюдал, как в счастливые минуты отдыха и формировок оттаивал в солдате умерший человек, как он хватался, радуясь, за пилу и топор, за долото и рубанок, строя себе землянку или какую дыру-времянку.

Как он был рад ухватиться за какое-нибудь дело: за починку обуви и одежонки, за поделку ложки, за сказку или анекдотец и

даже за дело, которое никогда не бывало у него в руках...

Странно это или не странно, но лишь тридцать лет спустя солдат и писатель начинает говорить о войне на страницах своих книг — рождаются одна за другой удивительные по чистоте и силе переживания, по живой и образной натуральности слова повести «Выздоровление», «Раны», «Передышка». Тридцать лет нужно было, чтобы, может, не так больно стало говорить о войне, чтобы вообще заговорить о ней, чтобы переживание, все же не утратившись, нашло осмысление по самому высокому, христианскому духовному счету. Через тридцать лет стал улегаться барабанный треск в военной прозе, пришло время горькой и страшной правды — окопной правды, от которой стала видна вся непостижимая мера страдания, принятая человеком, стал по-настоящему виден и подвиг солдата, какой заключался перво-наперво в том, чтобы пройти через кровь и смерть и остаться человеком... И осмыслить все, думанное и тогда, в окопах.

«— Нет, скажи, лейтенант, — насупив брови и блуждая глазами, спросил Гневышев. — Как это понять: жили люди, землю пахали, кормились, рожали ребятишек — и бах, давай железом резать друг друга?...» Такой вечный и — кажется мирскому, недуховному человеку — неразрешимый вопрос задает солдат Гневышев из повести «Раны» лейтенанту Трунову, который вслух ничего не отвечает, но думает так же, думает дальше, почти отвечает: «В каком-то храме бы пребывать, какие-то свечи зажигать. И при свете их твердить: люблю, люблю, люблю. И любить бы трепетно, высоко, божественно, пить бы нектар мгновения, парить бы в радости, мотылек земли, человек...»

Военные повести Алексея Васильевича Зверева были достаточно высоко оценены сибирскими писателями и критиками. «Герои А. Зверева — люди трудной, но чистой судьбы, — отмечала критик Н. Тендитник. — Среди них особенно выделяется Евлампий Гневышев из выдающейся мастерством повести «Раны». В жизненном опыте героя — рядового солдата, с которым читатель встречается в самый канун его гибели, спрессовано почти тридцатилетнее раздумье автора о войне. Это и обусловило мастерство воплощения в характере рядового крестьянина судьбы народа, его молчаливого, сосредоточенного, жертвенного служения своему отечеству».

Писавший ранее предисловие к одной из книг Зверева, Валентин Распутин возможно еще раньше критики сумел оценить повесть «Раны»:

— Я помню, какое большое впечатление произвела на меня, когда я в первый раз прочитал повесть «Раны», фигура Гневышева. Мы много рассуждаем о русском национальном характере, начиная от Платона Каратаева и кончая героями и Василия Белова, и Федора Абрамова, и Виктора Астафьева. Но говоря об этом национальном характере, было такое ощущение, что чего-то все-таки не хватает в нем. И вот тут, когда я увидел фигуру Гневышева, я понял, чего не хватает. То есть она как бы дополняет те необходимые черты, которые отсутствовали в этом русском национальном характере. Ведь посмотрите, какая действительно трудная жизнь выдалась этому герою, Гневышеву. И пришлось ему помытариться, пришлось пройти войну от начала до конца и пострадать на этой войне, и раны, принять, и все, что угодно, все тяжести, которые выпадают человеку в жизни, достались ему. И все-таки не растерял он и сердца, и души, не растерял мягкости и терпения, и добросклонности, и всего того лучшего, что отличает русский национальный характер. И вот эта-то фигура, этот человек как раз — а тут можно говорить о герое, черты которого совпадают с чертами человека, — и есть как бы живой человек, и принимаешь его как живого человека — когда встречаешься с таким героем, когда встречаешься с таким человеком, то тверже уверенность и в народе нашем, в том, что сохранит он все-таки свои национальные черты и сохранит свое богатство, и сохранит все, что нажил он за века своей истории...»

3

Мы не дадим промашки, если скажем, что памятью сердца — памятью тоскующей и уми-

ленной — писатель вольно и невольно возвращается и возвращается в деревню своего детства, своей начальной юности; и в этих протяжных возвратах звучит русская песня, играет гармонь, с такой неутоленной любовью, с таким чисто народным знанием описанная на много рядов в повестях и рассказах... Попробуем же и мы вслед за писательским воображением переселиться в довоенную деревню...

Усть-Куда. Родная улица писателя, родимый дом... Искрится и светится влажный весенний снег, и небеса по-вешнему заголубели, полегчали... Чуть слышно играет гармонь, потом на короткий миг стихает и вдруг звучит совсем рядом, переливается и рассыпается звуками. И тут, вывернув из переулка, идет в стайке веселых девчат молоденький, лукавоглазый гармонист и, отмахивая настырно лезущий на глаза ржаной чуб, наяривает «Иркутяночку» — пальцы с форсистым подскоком летают по ладам. На девчатах телогрейки и плюшевые дошки, но эта некорыстная лопотина украшена цветастыми полушалками, будто до срока, прямо на снежных суметах запылали ярко-красные цветы. Гармонист уже играет и «Сербияночку», потом легко и лихо соскальзывает на «Подгорную»; девчата приплясывают, притоптывают катанками и выпевают, визгливо выкрикивают частушки. А гармонист лишь ухмыляется зеленовато-кошачьими глазами и разваливает гармонь в удалом и протяжном переборе. Круг девчачий раздается; вылетает на середку небольшая, крепкая девица и, подбоченясь, лихо выбивает дроби прямо перед ухмыляющимся гармонистом. Поет:

Тараторок знаю сорок,
Я их все перепою.
Я во каждой тараторке
Сахаранку вспомяну...

«Мы не знаем, длинен ли был век былин и сказок, — так начинается рассказ Алексея Зверева «Манины частушки». — Жизнь частушки длилась недолго, равна она короткой человеческой жизни. Родившись в восьмидесятых годах прошлого века, она едва ли дожила до нынешних пятидесятых. Но как великий безымянный поэт, она оставила огромный след, наследство ее неизмеримо и хоть черпали поэты из него пригоршнями, многое осыпалось, завяло и исчезло безвозвратно. (...) Моему поколению довелось видеть рассвет частушечного творчества. Так оно густо и плотно жило в сознании людей, что казалось, любой уголок родного села, чащи, поля, заимки, был пропитан ее звуками, ее печалями и радостями, любовью, которую она выразила с величайшей силой и задушевностью».

Говорила, не заплачу
От любови — никогда.
Покатились мои слезы,
Как по зеркалу вода,—

поет Маня «звонко и с каким-то рыданием... горькую частушку».

В одну из последних зим мы несколько раз заговаривали с Алексеем Васильевичем о частушках, которые писатель сам всю жизнь пел под гармонь, под балалайку и давно уже собирает. Хорошо бы, конечно, нашему Восточно-Сибирскому издательству напечатать их; думаю, издательство тут не промахнется: вот издали в восемьдесят седьмом году частушки, собранные знаменитыми братьями Заволокиными, которые так полюбил наш простой народ, и ведь уже через месяц сборник частушек не сыскать было днем с огнем — мигом разошлись. Дивно это или недивно, а хоть частушка и уходит из нашего повседневного обихода, а спрос на нее остается.

Так вот, смолоду дружил Алексей Васильевич с частушкой, и однажды на спор пел их несколько километров без передыху — выспорил полкило конфет.

* * *

— Да, деревня заглохла, замолчала, — говорил Алексей Васильевич, и слова эти прозвучали по иркутскому радио. — Ведь раньше наша деревня была деревней песен, гармони, балалайки. Как наступало воскресенье... нет, уже с субботы начиналось празднество, а в воскресенье это был настоящий праздник. Конечно, я очень люблю народные песни. Ведь раньше как получалось: человек идет на работу и едет с работы — и все поет песни. Раньше во время жатвы, во время страды делали так называемые поденщины, или иначе

можно назвать — помочи. Так вот собиралось 20—25 парней и девушек, рассаживались они в лодки и плыли вниз по Ангаре на поля или рассаживались в телеги и ехали таким путем на поля...

Алексей Васильевич говорил, а мне представилось: Ангара, укутанная белым туманом, пойменные луга в россыпи копен, с реки по яру вздымаются парни и девчата — над головами покачиваются грабли и литовки, и тянется радостная, негромкая песня, какую величают жнивной.

— Жали с самого раннего утра до позднего вечера. Уставшие, опять садились в телеги и, вы знаете, особенно радостно пели песни, когда возвращались с поля домой. Потому что дома их ждал саламат и вечерка, как говорится по-сибирски, до самых первых петухов... А какие песни пелись?... Скажем, такая песня, как «Соловей кукушку уговаривал...» — это прекрасная песня, задушевная.

Алексей Васильевич как-то напел мне несколько своих любимых песен, в том числе и эту:

Соловей кукушку уговаривал,
Улетим, кукушка, в дальние края,
Мы совьем, кукушка, себе гнездышко,
Выведем, кукушка, детенышей,
Тебе кукушонка, а мне — соловья...

— Ну, прекрасная песня, которая явилась заголовком моего рассказа...

Напевает:

Как по синему морю-океану
Качает девицу волной,
Да никто ее не пожалеет,
И никому ее не жаль...

* * *

...Походив по Усть-Куде, мы завернули на чай к родственнику Алексея Васильевича, где опять же говорили о деревне, о ее прошлом, нынешнем и, конечно же, поминали и народную песню. Начали разговор о неперспективных деревнях, какой становится родная писателю Усть-Куда. Но мне подумалось, что и перспективные мало порой несут радости. Еще недавно по таким большим деревням пьяная молодежь шарашилась по улицам дотемна, сшибала возле магазина рубли на выпивку, а по ночам, залив шары, как у нас на деревне говорят, носилась угорело на свирепо ревущих мотоциклах. Страдали и страдают жители от этих «юных мотоциклистов», а матерые шофера, пристегивая матерки, злобно обзывают их смертниками, дорожной напастью. А вот, как еще в пятидесятые годы, с тихими задушевными песнями не ходят...

— Деревня ушла с улицы в дом, в жилище, к коврам, мягким креслам и диванам, к телевизору... Есть во многих селах Приангарья хорошие клубы, даже дворцами называются, но в них пусто, нет жизни, книги в пыли. Вместо трех сотен стульев сиротски сбились в кучу тридцать, и приходят смотреть фильмы шалуны-подростки; не смотреть, а потолкаться, посшибать друг у друга шапки. Взрослая молодежь не ходит в клуб, не гуляет с гитарой или гармонью по улице, потому что она гостья тут. Парни и девушки напелись и нагулялись в городе, а в деревне... а в деревне затем, чтобы навестить родителей, бабушек и дедушек. Но это еще ладно, а то и просто — запастись мяском, вареньем, соленьем... Грустно, погасли в деревне балалайка и гармонь, испелись и не сочиняются больше частушки, ушли с улицы разнообразные игры, забылись коллективные выходы на берег реки, в лес, в луга. О хороводах помнят только древние старухи. Какое огромное количество проголосных знала раньше деревня, и звенели они не только в праздники, а и в поле, в горячую пору сенокоса, жатвы, полотья...

— Насчет того, что хороводы помнят только древние старухи, — сказал я тогда Алексею Васильевичу, то, о чем писал в одном из своих очерков, — насчет этого могу одно лишь повторить: стыд и срам на головы молодых русских, которые, не говоря уж о хороводах, песен-то своих стали брезговать. Молодежь в сотнях поколений до нынешних времен пела свои народные песни, а тут на тебе, и от песен, и от предков — от всего родного, исконного отвернулась, жадно всматриваясь в отбросы западной культуры.

— Всякий труд спорился под песню, — говорил Алексей Васильевич. — Только от серпа, только сложат парни и девки «кресты»

из суслонов хлеба, едва, утомленные, затащатся на телеги — и десять верст от поля до дома поют и поют одну песню за другой... Нынче деревня тиха... Сугробы да прясла, да серые, шиферные крыши, да крашеные дома, а людей нету. И ведь при этом люди-то живут куда богаче прежнего — вот бы повод и условия для веселья. Есть машины и мотоциклы, чуть не в каждом дворе. Одеваются — не отличишь от городских и разговаривать стали по-городскому, потому, может быть, что родился стыд говорить по-деревенски...

Тут слова писателя в моем сознании злобно заглушились дискотечным ревом скрежещущие и бухающие звуки рока, убогие слова песенки, пропетой на исковерканном русском языке, глумливо и гундосо — так теперь модно; толпа скачущих подростков, и посередине один — кажет цирковой брейк. Тела в корчах, лица в судороге, точно после ядерного взрыва, глаза наркотически пусты и бездушны. Страшно... и жалко бедных, будто какой-то сатанинской волей согнали их в стада и велели выделывать непотребное, гадкое, обезьянье...

— Слово, прозвучавшее по-старому, с русской первородностью, осмеется коллективно, оттого пожилые люди рот поджимают: как бы чего не выпалить...

И опять мне слышался вездесущий рок. Улица полудеревни, полугорода; подростки в детской песочнице, ревущий магнитофон и пожилые люди, молча и отрешенно сидящие на лавочке, смотрящие на подростков, на порушенные железные качели, вывороченные с корнем беседки-грибки, чуть живые, ободранные топольки, на машины у подъездов...

— А красоту прежней речи в ее яркости и первородности только и услышишь в частушке, когда пойдешь собирать их среди постарелых жителей...

Слушал я Алексея Васильевича и думал обреченно, до полной пустоты: что уж тут поделать, коль время такое, стремительное, железное, чадное и грохочущее, при котором уже смешон и неуместен хоровод, в котором уже глохнут, вянут народные протяжные песни. Но если такое время — не нужно ему величавое и сверхгениальное тысячелетнее народное творчество, — то уж никак его прогрессивным по сравнению с тем же девятнадцатым веком не назовешь — дикость, цивилизованное варварство.

— Сердце замирает от мысли: как это мы не уберегли красоту-то прежних лет, — вздыхает Алексей Васильевич, — как это время за два, за три десятилетия слизнуло многие коренные черты русского народа? Только одни народные ансамбли и хоры, верно, в умаленном и прикрашенном виде пытаются удержать нашу старину...

И обо всем этом переживает писатель в своих произведениях, достаточно вспомнить повесть «Сашкина душа», рассказы «Как по синему морю...», «Манины частушки».

— Вообще писатель, наверное, стоит на трех китах: на опыте, на языке и на духовности, — говорил писатель Валентин Распутин во время юбилея Алексея Васильевича Зверева. — Опыт у Алексея Зверева несомненно большой. Он прожил деревенскую жизнь, начинал жить в деревне и застал еще патриархальный уклад, до коллективизации. Затем рабочую жизнь прожил немалую, прошел войну, прошел школу или, лучше сказать, ступени сельского интеллигента, работая в сельской школе. И вот, наконец, стал писателем. Опыт несомненно большой, но тут Алексею Васильевичу повезло еще в том, что он рос в деревне и с детства впитал тот великий могучий русский язык, который стал для него не просто средством общения, но и средством выражения тех красок и жизни, и природы, и движения, как внешнего, так и движения характеров. Но этого, очевидно, было мало: и опыта, и языка, — потому что тысячи прошли не менее сложный жизненный путь и миллионы впитали с детства тот же самый могучий русский язык. Но тут необходимо было нечто объединяющее вот эти два фактора, нечто скрепляющее. И вот таким объединяющим фактором явилась, очевидно, духовность. Алексей Васильевич не позволил, чтобы пропаганда извратила как-то его взгляды на человека в нашей стране, на духовность и нравственность в вечном смысле, и, конечно, это помогло ему сказать то, что, в конце концов, он и написал в своих книгах.

Ангара с ее присмиревшей, сонно безразличной, зеленоватой течью, с островами, с берегами, низкими, полузатопленными и высокими становыми, поросшими березняком и осинником. Вот небольшая рыбацкая заимка Хариузовка, описанная Зверевым в повести «Лыковцы и лыковские гости», а вот и дом писателя.

Такой же родной, как и хлебородная усть-кудинская земля, стала для писателя Ангара, на берегу которой вырос, на берегу которой и теперь стоит его дачный дом. Здесь возможно и написаны некоторые рассказы, повести, здесь из лета в лето обихаживает писатель землю на небольшом приусадебном участке — впрочем, это, скорее всего, вотчина Лидии Ивановны — жены писателя, потому что Алексей Васильевич природный рыбак, и тут не разорвешься на части. Здесь, на великой сибирской реке, провел Алексей Васильевич многие утренние и вечерние зорьки.

— Я сибиряк, — говорит Алексей Васильевич. — Всю жизнь прожил на Ангаре. И думы мои о ней. Чистые, светлые воды вырвались из Байкала и понеслись к Енисею, протянувшись на 2 тысячи километров. Что с ними? Как они живут?.. В детстве нас, детишек, катал на лодке один крестьянин. Тогда он заставил нас поверить, что ангарская вода в цистернах возится в Москву и продается там по три копейки за бутылку. И как же было не поверить: на глубине пять метров виднелись розовые, фиолетовые, синие камешки — так зеркально прозрачна была вода в реке.

Если заговорить с Алексеем Васильевичем о рыбалке, повадках норовистого ленка и хариуса, то Алексей Васильевич, как и всякий природный рыбак, такого порасскажет, что диву даешься, и долго будешь почесывать затылок, цокая языком, ухмыляясь, гадать, где там быль, а где побаска гораздого на веселую и азартную выдумку писателя и рыбака. Впрочем, рыбак Алексей Васильевич отменный. Помню, зима еще только перевалила за горушку, поближе к изножью весны, только еще дохнуло бывалым духом предвесенья, а уж затосковал он по красным летним денечкам, по своей рыбацкой избенке, по лодке, выдернутой на берег. И, может быть, перебирая снасти, ладя свежие мушки, живо воображал, как оттолкнет лодку, вымахнет на стрежень, потом выищет ведомое ему уловистое место и закинет удочку; может быть, даже, как говорят рыбаки, подшаманит что-то с удочкой и бессловесно, одним лишь низким поклоном испросит у реки фарта; и, кажется, не будет счастливее этих часов, уплывающих по течению, будто минуты, когда ты, прижав в азарте дыхание, ждешь клева, когда ты просто даешь роздых и полет душе среди речного простора, в одиночестве и тиши.

Зимой Алексей Васильевич подправляет здоровье на лето, для рыбалки (война — это ведь не только ранения и контузии, это и, как говорится, нервы, истрепанные в труху, это и просто угробленное здоровье, если представить, что доводилось, не просыхая многими сутками, топать в снегах и ливнях, месить стылую весеннюю грязь катанками, «купаться» в ледяной воде...), но с годами рыбалка стала даваться все тяжелее и тяжелее, хотя тяга рыбацкая не убывала и никогда не убудет. В лето восемьдесят восьмого года, как говорил не жалуясь Алексей Васильевич, так ноги приболели, что выехал раз на рыбалку — не утерпел, так потом чуть ли не по-пластунски в берег лез. Но река не отпускает...

* * *

Когда-то Ангара была рекой красавицей, описанной, воспетой и художниками, и писателями (прекрасные описания ее читал я у Алексея Зверева, Валентина Распутина); когда-то здесь была добычливая рыбалка — по сотне хариусов вылавливали сноровистые ангарские рыбаки — и это за одну-две зорьки. Ранешний береговой житель, мужик, прямо с мостков науживал на уху, пока хозяйка растапливала печь и разогревала воду. Но в ногу с нынешним временем поменялась и река, превращенная в сплошные водогноилища при гидростанциях, а их ни много ни мало, подвесили на многострадальную реку аж целых четыре — каскад, как мы говорили недавно с гордостью. Нету прежней Ангары, и теперь,

если на варю за день-деньской наудишь, так впору боженьке свечку ставить, а потом благодарить речного хозяинушку — сжалился.

— Под Иркутском остался кусочек прежней Ангары в шестьдесят километров, — говорил Алексей Васильевич. — Тут живет миллион сибиряков. Тянутся люди к этому остаточку красавицы реки, а наслаждаться, радоваться нечем. Колебания вод, производимые ГЭС, ежедневные и мучительные, убили рыбий корм и саму рыбу. А тут еще завод нерудных материалов «доколачивает» реку... Добывая гравий, он же всю реку поизувечил и поставил ее на край гибели. Снесено множество красивых сенокосных островов. Изрыто дно гравиечарпалками на всем протяжении этого участка в шестьдесят километров. Богатейшее естественное нерестилище — острова Частые (их пятьдесят пять) — разделены дамбой, и все острова ниже ее исчезают с глаз один за другим. А человечек видит эту ужасную бесхозяйственность, и, бессильный восстать против зла, сам невольно становится злодеем, сам браконьерским путем доколачивает все живое в реке. Потом придет на берег и ахнет: нет реки, есть грязное, заплесневелое болото, запустение, мертвое царство...

Алексея Васильевича, как рыбака, как писателя, а перво-наперво, как патриота земли российской, не может не тревожить судьба великой сибирской реки. А иначе писатель, народный выразитель и немыслим, иначе он просто дармоед, сидящий на шее народа; не загадывая о победе в этой борьбе за спасение и сохранение нашей земли, нашей природы, а порой почти и не веря в победу, писатель все же не имеет права молчать. Впрочем, если перед нами настоящий писатель, гражданин, патриот, то он такими вопросами и задаваться не будет, даже если его голос будет гласом вопиющего в пустыне. Печаль по реке выразилась и в повести «Лыковцы и лыковские гости», и в остропублицистическом очерке «Как умирает река».

Немало горького сказано и в повести, и в очерке о браконьерах, в погоне за звонким рублем продавших душу нечистому и предавших родимую реку, но во сто крат страшнее браконьерского разбоя промышленный удар по реке. В некие, не очень и давние времена сплошь и рядом приангарские жители вдоволь, правда, сурово соблюдая сроки, ловили рыбу и сетями, и вентерями, и рыбы не убывало. А теперь, с промышленным завоеванием и порабощением реки, как было написано в одном фантастическом рассказе Алексея Васильевича Зверева, распрощались мы с последними ангарскими тайменями. Рассказ так и называется «Последняя».

* * *

Вечерняя река, умолкающий окрестный лес, в окошках Хариузовки запаляется свет. Усадьба писателя с кустами и деревами, среди которых зеленеет сибирский кедр, в свое время маленьким, чуть живым посаженный на участке. С берега долетают плачущие крики чаек...

— Без душевного, бережливого отношения к природе жить нам дальше нельзя, — говорит Алексей Васильевич. — Ведь доброе, разумное отношение к природе — это мера нашей культуры. Сама же природа только тем и занимается, что одаривает нас не только материальными богатствами, но и духовными. Сказки, песни, предания навеяла нам природа. Все игры, сколько их было придумано народом, создавались при активном участии природы, да и без нее они были бы немыслимы...

Поверх слов писателя мне виделся березовый перелесок, и казалось, что дерева, выметнувшись из сплошных зарослей папоротника, уносятся в небо, сливаются кронами с вечностью; а березы помоложе, выбежавшие на луговую елань, казалось, кружатся в хороводе, будто девушки на троицу, в пестрых сарафанах, в зеленых лентах, вплетенных в долгие косы. И слышалась хороводная песнь, потом она стихла немного и зазвучали негромкие слова писателя:

— Оттого-то народные игры, как и сама природа, возвышенны, благородны, умеренны, красивы, и играются они краше в окружении леса, полянки, воды, цветущих хлебов, и вытекают не из чужой, а родной природы. Не оттого ли обыностраненная игра нам кажется

грубой и жестокой иноземкой, сеятельницей мордобоев. Природа без конца зовет нас подражать ей, а как она прекрасна, то и подарок ее главный — красота. Поэтому и церковь красилась в зеленый цвет, и острые ее верхи похожи на вершины деревьев, и дома с кружевными карнизами, похожими на листочки и разные травы, и вышивки на кружевах, на прежних хомутах и седелках, и медные бляшки — все это ягоды, листики, гроздья, колоски, елочки. Природа — самая прекрасная учительница высокой культуры и нравственности, только береги ее, не забывай учиться у нее.

5

Сейчас в обиходе, и особенно в нашей газетной печати, модно слово «феномен», и суют его везде, точно затычку банную. Но вот об Алексее Васильевиче можно сказать, применив это слово, это понятие. Феномен Алексея Васильевича Зверева, феномен писательский, в том заключался, что, молодые, полнокровные годы отдав школе, в те лета, когда многие собратья по перу лишь подправляют написанное, составляют мемуары, готовят к печати свои дневники и записки, он вдруг с молодой, неувядшей энергией и страстью пишет повести — повести, повторю, редкого, народного таланта. Как дань тридцатилетнему учительству — повесть «Жили-были учителя», опубликованная в альманахе «Сибирь». Написанная еще в пятидесятые годы, повесть уже готовилась к изданию, но по законам того глухого времени, которое, кстати, и описано в повести, была снята с издания, набор был рассыпан.

— Кажется теперь, что не тем мы занимались, чем надо было, — вспоминает свое учительство Алексей Васильевич. — Я бился над тем, чтобы мои ученики не допустили на экзаменах орфографические или синтаксические ошибки, не пробуждал самостоятельной мысли о Пушкине или Толстом, к тому же и не позволяли нам делать это — все было по учебнику, по схеме, все должно было быть в русле. В великих не искали Россию, ее судьбу, ее падения и взлеты, не порождали в детских и юных сердцах чувство любви к России, глубинного, а не казенного. С удовольствием посмотрел телепередачу об учителе Шаталове, объяснение им знаменитого «зигзага» Дмитрия Донского, проделанного им перед сражением. Я тоже не знал этой исторической детали, как не знала ее образованная аудитория в Останкинском зале. Побольше бы таких «зигзагов» оставляли учителя в душах воспитуемых.

* * *

— Высокая традиция русской литературы состояла не просто в честном служении своему народу, — говорила на юбилее писателя критик Надежда Степановна Тендитник, — но и в умении крепить слово образом жизни, следовать ему неуклонно во всех житейских обстоятельствах. У Алексея Васильевича весь опыт прежней жизни, учительство, писательство, защита родины с оружием в руках, не расходятся с его словом. К сожалению, такой образ жизни, при котором бы слово не расходилось с образом жизни, редок, но он необходим, его примеры среди нас...

Очень верно и даже поэтично выразила характер Алексея Васильевича редактор нашей писательской газеты «Литературный Иркутск» Валентина Сидоренко:

— В Древней Руси была такая форма литературы — жития святых. Они были писаны как образец для подражания молодым, и там основные качества характера были негорделивость и скромность; достоинство человека было в исключительной скромности, в том, что ничего нельзя было делать напоказ, ничего нельзя было делать — тут имеются в виду, конечно, добрые деянья — ради того, чтобы кто-нибудь увидел и похвалил. Это в общем-то исходило из религиозных мотивов, есть даже в Евангелии: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой,

видящий тайное, воздаст тебе явно». Так было в «житиях»... И это были истинно высокие человеческие достоинства, самые настоящие... Ведь если мы возьмем природу, то в природе есть подобное. Вот, допустим, грибы: настоящие грибы — они какие-то очень скромные, очень тихие, приглушенной окраски; поганые же, ядовитые, которые имитируют настоящие, обычно очень яркие, очень красивые, их не пройдешь, они на виду... Точно так же и цветы. Вот я видела корень женьшеня, видела, как он цветет. Это удивительно скромный цветок, какой-то весь притушенный, приглушенный; он весь тихий, он так растет, как будто место собой боится занять. А ведь это истинно корень жизни. Природа же и идеология Древней Руси были взаимосвязаны, что и выразилось в «житиях»... И вот, может быть, это немножко громко, с образом «жития» у меня всегда ассоциируется образ Алексея Васильевича. Есть у Алексея Васильевича настоящее доброе, что внутри светится, то, что не кричит, то самое тютчевское, что «сквозит и тайно светит...» Писатель он удивительный. И «Гарусный платок» его, и «Раны»... И у меня всегда ощущение, когда я его читаю — а я его очень часто перечитываю, потому что сердцу приятно, — идешь как по хлебному полю: земля тут, небо, солнце, воды — все спокойное, ясное, все очень человеческое, все доброе.

Справедливые слова, сказанные Валентиной Сидоренко, я бы мог подтвердить одним очень примечательным случаем... Помню, врезалось мне в память: был у Алексея Васильевича зимой на курорте «Ангара», где он подлечивался, подлаживался перед летом, вернее, перед летней рыбалкой. О многом мы тогда говорили, потому что с тех пор, как я открыл для себя прозу Алексея Васильевича, относился к нему с ученическим почтением. Он рецензировал рукопись второй моей книги, которая готовилась в нашем Восточно-Сибирском издательстве, и рецензия меня поразила не только своей редчайшей чуткостью и внимательностью, своей доброжелательностью, но даже и формой — это был почти что рассказ. Итак, мы говорили, можно сказать, балякали по-стариковски, как потом посмеивался Алексей Васильевич. И помню, он сказал без всякого вздоха и огорчения: «Мы с тобой, Толя, провинциальные писатели, а вот наш дорогой Виктор Петрович Астафьев — это и всерусский, и всемирный писатель...» Меня, честно сказать, скребнули по душе эти слова, опечалили — гордынька и тщеславие еще во всю бродили; никому-то не хочется махом записывать себя в провинциальные писатели, а уж мне, тогда еще начинающему, еще не пожилому и не умудренному, тем паче. Но со временем, скажу, положа руку на сердце, я смирился с этим званием, но с такой утешительной и оправдательной оговоркой: был на Великой Руси протопоп Аввакум, страстотерпец за древнее благочестие Православия горячий, воинственный патриот России; на всю святорусскую землю прозвучал его вещий, страстный глас, но были же и священники в скитах, которые и в своих приходах (в провинциях!), среди сотен и тысяч старообрядцев проповедовали, пусть даже с меньшей силой, с меньшим талантом, нравственную чистоту и суровость, русскую народность нашего отечественного Православия. И мало того выступая против злобных, антирусских замашек царя Петра, сотнями, страстотерпцы, сжигали себя в скитах, устраивали «гари», как только приближались служивые.

Критика столичная не баловала Алексея Васильевича своим вниманием, хотя сибирские писатели, да и многие из центральной России, конечно, высоко оценили талант писателя.

— Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива, — в разговоре о прозе Зверева сетовал Валентин Распутин. — Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее и глубже, и при всей несвежести сравнения ее с айсбергом, оно, однако же, остается достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно и талантливо. И дело тут не в похва-

лах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш так называемый большой читатель. Конечно, несправедливо, что Алексея Васильевича не знают очень хорошо и что большая критика его замечает мало. Вот это несправедливо. Он достоин, конечно, чтобы его читали по всей стране и издавали по всей стране, чтобы правду, которую он говорит, впитывало большое количество читателей. И все-таки дело не в оценках, а в том, что делает писатель сам, как он работает, и, в конце концов, я считаю, что сделанное не останется втуне и все равно дойдет до читателя. Это гораздо лучше, если сравнить с судьбой тех писателей, которые делают мало и хуже, а славу имеют большую... Писать правду не просто, она требует не только решимости и не только таланта, но вместе с ними и правильной, не склонной к конъюнктурным соблазнам, духовной ориентации.

Всем этим писатель Алексей Зверев, мне кажется, наделен щедро и распоряжается точно.

* * *

И опять Усть-Куда, темнеющая избами среди белых снегов. Мы идем с Алексеем Васильевичем по деревне, где избы — судьбы людские, и все больше судьбы печальные, безысходные, помеченные и оплаканные писательским словом. Приболоченная, поросшая мелким кустарничком, широкая балка; крутояр, с которого уносился на санках сын крестьянина Василия Зверева. На крутояре брошенная и разоренная усадьба, с голыми окнами, растворенными сараями и стайками, с порушенным и растасканным заплотом. Оглядев эту горемычную усадьбу, двинулись дальше и, утопая в глубоком сумете, пробились кое-как в церковь. Помню, с какой болью говорил Алексей Васильевич об Усть-Кудинской церкви, когда мы осматривали ее, похожую на беспризорную усадьбу, развороченную, изнутри и снаружи исписанную безбожно, обращенную, да простят мне устькудинцы грубое словцо, в общественную уборную, куда бегают до ветра, если прижмет вдруг посреди улицы. Стыд и срам!... А ведь церкви уже чуть ли не два века, и не говоря уж о том, что она являет собой несомненное произведение каменного зодчества, она ведь и святыня Усть-Куды, поскольку в ней молились деды и прадеды коренных устькудинцев, правили души к свету и добру, поскольку в ней крестились по рождению, венчались по молодости и отпевались по смерти предки нынешних селян. Так отчего же мы, супостаты, не понимаем, что обойдясь подобным образом со святыней народного духа, мы все равно что святотатственно надругались над могилами своих отцов и матерей?! И даром нам это святотатство не проходит, ох какую дорогую цену платим мы за свои грехи, а все не можем опомниться.

И об этом слово писателя. Повести и рассказы Алексея Васильевича Зверева, как и лучшие произведения русской литературы, заклинание народу, чтобы он вспомнил себя — вспомнил себя высокого и светлого духом, даже в страданиях и растерянности, не терявшего любви к своему ближнему, к земле отцов и дедов, к обычаям своего рода-племени. В этом смысле проза Зверева в талантливых своих образах стоит в одном ряду с прозой именитых русских писателей нынешнего века, прозываемых деревенскими, и это проза, чаянная Львом Николаевичем Толстым, начавшим в свое время издание крестьянских писателей — писателей от самых народных корней, от земли-матушки.

1988 г.





Владимир Сажин

ИЗ ПЕСНИ

Помнишь, как цвела рябина,
У моих цвела ворот.
Увела тебя гордыня,
На цветы роняя лед.

Надо мной горят закаты,
Даль твоя синём-синя,
Не мои в твоей ограде
Тополечки-сыновья.

Ты на том, а я на этом,
На осеннем, берегу.
И несут на крыльях с ветром
Гуси-лебеди пургу.

У ШАХТНОГО ДВОРА

Мы на камнях у шахтного двора
С братишкой оказались не случайно,
Отец подняться должен на-гора,
Его мы ждем, на солнышке скучая.

Но вот запело колесо копра,
И к солнцу клеть рванулась торопливо,
Летим на конях-прутиках: «Ура!» —
Отец нам улыбается счастливо.

Забойщики смеются от души:
— Смотри-ка, Иннокентий, чья там пара?
Вот это парни! Всем вы хороши,
Жаль, уши, словно ручки самовара.

А нам с братишкой вовсе не до них.
Подумаешь, у нас большие уши.
Как поделить карбидку на двоих!?
— А ну, отдай, а то сейчас получишь! —

И сразу слезы. Реки горьких слез.
Отец смеется: «Подключай насосы,
Зальет всю шахту!» Брат карбидку нес,
Слезинки сохли, как под ветром росы.

Коробились спецовки горняков,
Гремели, будто сшиты из железа.
Мы шли с работы, десять мужиков.
Смеялось солнце над зубчаткой леса.

ОСЕНИНЫ

Осень, осень. Осенины.
Лету-летечку конец.
Как в кострах стоят осины,
Люди возят «осенец».

Стынут росы, вянут травы,
И косе уж не звенеть.
Сыплет ветер на отаву
Листьев рубленую медь.

Стала светлой изначальной
Глубина озер тугих.
Это долгими ночами
Накрошились звезды в них.

Присутулились зароды
И глядят из-за жердей
На извечные заботы
Неба, осени, людей.

Владимир Иннокентьевич Сажин родился в 1939 году на руднике Тарбальджей Хапчерангинского оловокомбината в семье рабочего-горняка. В 1963 году закончил Иркутский сельхозинститут и вернулся в колхоз, где работает главным инженером управления Когринского РАПО.

В альманахе публикуется впервые.



Василий Забелло

ФАРТ

РАССКАЗ

Окутанная блескучей изморозью, на горбовину гольца выкатилась луна и осветила крестьянское подворье. Охотник накормил собаку, затолкал в конуру охапку сена и, еще раз глянув на луну, пошел в дом. Ожидалась перемена погоды, нужно было хорошенько отдохнуть. Неделю кряду он с собакой «ломал» кедровые гривы междуречья, но все безрезультатно: свежего соболиного следа так и не встретил. Азарт иссякал. Очередная вчерашняя неудача вызвала приступ отчаянной злости: «Все... ша! В гробу бы видеть такую охоту! Что я прокаженный, что ли?» — Охотник в сердцах сбросил понягу, хрипло выругался и дуплетом разрядил ружье. Гремучий заряд отшиб ветку, и звук, угасая, забился в распадках. На выстрел прибежала собака, охотник даже не сказал, рыкнул: «Домой!» Закат виновато посмотрел на хозяина, дескать, прости, не нашел, ткнулся холодным влажным носом в руку и покатился вниз к дому.

Но то было вчера, а сегодня охотник весь день промаялся, не находя себе места. Оставалось несколько дней отпуска, не попытать ли удачу еще раз? «Вот так всегда — оттаешь малость, отойдешь и опять тянет бежать в тайгу, как будто она без тебя засохнет. Эх, порошу бы!»

И пороша выпала, как по заказу. Тронулись затемно, и уже с рассветом охотник был в знакомом распадке. Подошва горы, поросшая молодым березняком и осинником, была сплошь исписана набродами заячьих жировок. Одуревший от свежей пороши, Закат хватал нервными ноздрями горячие запахи следов, то и дело вырывал поводок. Заката поминутно приходилось осаживать. На охоте зайцы — это беда, измотают собаку, что потом никакими силами не заставишь ее работать, будет плестись сзади. Нужно было скорее подняться на хребет.

Галанская грива, куда направлялся охотник, для соболиного промысла не очень подходяща: высокая, крутая, с множеством широких россыпей. По выражению промысловиков, с собакой там охотиться «не нога». Но что делать, если в более удобных и доступных местах соболя, с приходом на Байкал стройки, ощутимо подобрали. Охотник, за редким исключением, промышлял обыденком — одним днем, всякий раз разматывая круг в двадцать пять, тридцать километров. Участка он не имел и потому считался браконьером. Однако добытчик не соглашался с поставленным на него презрительным тавром, поскольку считал себя потомственным таежником известной фамилии.

После войны его отец освоил довольно большой отмер и всегда перевыполнял план. В ту пору соболями расплачивались за американские паровозы, и отец был не последним человеком в этом деле, о чем не без гордости при случае любил прихвастнуть. Пока сын служил в армии, отец остарел, держать одному тай-

гу стало не по силам. Отмер передали другому, со стороны.

Со службы охотник вернулся, а вот участка вернуть не смог, к этому времени сменились и охотовед, и директор промхоза. Старые промысловики, зная, как без этой заразы — охоты тяжело прожить, по дружбе разрешали соболевать на своих участках, но чтоб промышлял, не мешая им.

За отпуск охотник добывал четырех, редко пять соболей, сбывал втихаря по договоренности. Как говорится, отрывали с руками да еще наперед заказывали, так что, по выражению самого охотника, штаны было чем поддержать. «А как иначе? — рассуждал он, — на одну зарплату прожить тяжело, да когда с тебя вдобавок алименты дерут. И с другой стороны посмотреть: сдай в промхоз, получишь шиш — завсегда промысловики обижаются, и всякий старается пять или шесть шкурок тайно пустить на сторону, да которые получше. Посчитай, сколько женщин по городу в баргузинских соболях разгуливают? Да оно и правда, чем наши женщины хуже заграничных? Не все же «мадамам» в русских мехах щеголять.

Одно только угнетало охотника: скудеет тайга, и не потому, что браконьеров развелось много, как раз немного, по сравнению с главным браконьером — комбинатом — слону дробина. Это его промышленная мга, которая годами висит над тайгой, бьет по ягодникам, по птице, по кедровникам. Не раз и не два, задыхаясь, пробивался охотник через эту сизо-лимонную мглу, не раз и не два видел, как, вытягиваясь на камнях и колодинах, пропадали мыши, как осыпался побуревший кедровник. «Да какой же я после этого браконьер? — рассуждал охотник. — Тайга-то уже и тайгой не пахнет, чахнет, тускнеет таежная зелень, от меня, что ли?»

Перед подъемом березняк рос гуще, ружье пришлось перебросить за спину и круче забрать на хребет. Галанская грива замыкала в себе несколько хребтов и возвышалась над Байкалом более чем на тысячу метров. До недавнего времени тайга в изобилии хранила разную живность: на ягодниках кормились выводки глухарей и рябчиков; в кедровниках, едва орех наливался молочком, шустрые бурундучки принимались стричь шишки; по осени на урожай набегали чернохвостые белки-кедровки, рыжехвостые белки-еловки — вечные кочевницы, в благоприятные годы они успевали приносить по три помета; на старых гарях в малиннике паслись медведи, нагоняя страх на случайно набредших ягодников; в сырых болотистых распадках ягнились косули; а во время золотой опади в этих же распадках сильные и грозные быки изюбри держали гаремы в пять, а то и в шесть маток, и некоторых из них охотник знал по виду, по голосу. В мелколесье кроме зайцев обитали колонки, горностаи, охотящиеся на рыжеватых полевок и куцехвостых сеноставок — пищух, и еще много другой живности в изобилии водилось в тайге до недавнего времени, и каждый вид занимал и осваивал только свое жизненное пространство. Славилась некогда Галанская грива и соболями, любили они обживаться в густых темных кедрачах, в россыпях, скрадывали рябчиков, зазевавшихся пищух, не пробегали и мимо рясной черемухи, рябины — лакомились вдоволь. За последние годы в тайге всего поубавилось. Охота зачастую превращалась в пустую трату времени. Вот и отец нынче сказал: «На охоту теперь надеяться нечего, занялся бы каким другим делом». Но как займешься другим делом, когда с малолетства сидит в тебе эта «зараза», каждый раз от тоски изойдешь, ожидаючи первого снега.

На хребте охотник спустил с поводка собаку и рукой показал направление. Обрадованный кобель стрелой полетел вперед, но через десяток-другой прыжков остановился возле пня, обнюхался, задрав ногу, отметил свое грозное присутствие, разгребая снег, пробуксовал на месте, оглянулся на хозяина и, услышав знакомое «ищи!», челноком пошел вверх.

Кобель был окрасом лисый, среднего роста, грудаст, кольцо хвоста держал на левом боку. Сухие жилистые лапы до половины белые. Умные с раскосинкой глаза смотрят живо и весело. Маленькие острые уши чутко стригут на покатой легкой голове. Чего же там говорить, кобель принадлежал к доброй породе карело-финских лаек, и только рано поседевший

и несколько удлиненный нос с широким сквозным разрезом между норок, напоминает о редкой примеси восточносибирской крови. Хорошие соболевые собаки встречаются нечасто и высоко ценятся среди промысловиков. Охотнику долгое время на собаку не везло. Были когда-то у них соболятницы, да породу упустили, а возобновить оказалось делом далеко не простым. Разных потом заводили: и с чужих рук брали, и в питомнике, но все они не удовлетворяли охотника: то чутье слабое, то медведя боится, то хитрая и пакостливая, то ленивая, то обидчивая, и только про Заката, когда тот первоосенком облаял три десятка белок и загнал четырех соболей, отец сказал: «Этот кобель сто сот стоит, такой дается раз в жизни, береги!» И сын берег любимца пуще своего глаза. А достался он ему случайно. У проезжего чалдона в вагоне ощенилась сука, принесла одного-единственного щенка. Сразу же начались неприятности, того и гляди кого-нибудь укусит. Волей-неволей пришлось избавляться от приплода. На счастье, рядом оказался охотник, разговорились, чалдон предложил ему щенка: «Возьми, паря, грех такого выбрасывать, выкормишь, добром поминать будешь».

Рос кобелек резвым и понятливым, с его появлением двор сразу ожил. Правда, не обходилось и без проказ. Как-то охотник колол дрова, слышит, куры, что впервые были выпущены на весеннее солнышко, испуганно закричали и захлопали крыльями. Оказалось, Закатик гоняет по ограде, поймал курицу за крыло и возит, та, растрепанная, по сумасшедшему кричит и силится вырваться. Охотник схватил прут и тут же отстегал щенка, приговаривая: «Нельзя, шельмец, нельзя!» После этого куры ходили возле вытянувшегося на солнышке Закатика, но тот только глазами косил, наблюдая за ними, а со временем и вовсе перестал замечать их.

Холодное зимнее солнце нехотя наполняло таежный день светом. Закат рыскал по кедрачу, забирая все выше. На взлобке он взял беличий след и через несколько минут подал голос. Охотник сразу определил: лает на белку. Не так-то просто было высмотреть в густохвойном кудрявом кедре затаившегося зверька. Белка, изобразив хвостом хвойную кисть, выстелилась на ветке. «Вон где ты, голубушка, — обрадовался охотник, — ишь как замаскировалась». Он зарядил стволы испытанной «тулки» беличьим зарядом и, прицелившись, ударил по темному пятну головки. Белка, кувыркаясь по веткам, упала в снег. Закат, затаенно следивший со стороны, в два прыжка очутился подле и придавил еще дрыгавшегося зверька лапой. «Нельзя!» — услышал он строгий голос хозяина и отошел. Охотник поднял затихшую белку, отрезал передние лапки и отдал собаке. «Начало есть, спасибо Хозяину[1], пошлет ранний след, до обеда распутаем, — потрепал кобеля за ухом, прижался щекой к морде, — соболюшку ищи, соболюшку!» Закат знал, что от него требуется, ответно лизнул в щеку и через мгновение скрылся из виду.

...Далеко внизу, откуда нередко доносился удушливый запах дыма, россыпью сверкали угольки, они появились несколько лет назад, и соболь, выходя на жировку, подолгу смотрел на них. Сегодня ночью он побежит навстречу этим тлеющим уголькам, вернется к оставленному урочищу, в свое родное гайно, где впервые увидел свет и впервые услышал заботливое урчание матери-соболихи. О, какая душистая и сладкая черемуха вызревает по ключам старого обиталища! И соболь протянет к ней цепочку следов и налакомится вдоволь. Он безошибочно по известным только ему одному приметам отыщет родное гайно и заново обживет его, а если оно окажется занятым, он прогонит поселенца. Там в узловатых корнях старого кедра в одну из теплых майских ночей началась его соболиная жизнь.

В помете их было трое: две маточки и он. Еще слепышом, расталкивая сестер, он первым отыскивал под мягким брюшком матери самые полные и сладкие соски. На два дня раньше, чем у сестер, у него прорезались глаза, и он первым стал

[1] В любых таежных делах охотники уповают на Хозяина: у него просят удачи, приглашают к чаю, спрашивают разрешения ночевать в зимовье и т. д. Хозяин — это совесть охотника, неписаный закон. Обычай этот соблюдается и в наши дни.

выходить наружу и знакомиться с тайгой. Однажды они заигрались с пойманной мышью, и одну из сестер скараулила сова. Она с лету схватила ее и унесла. Соболиха-мать долго разыскивала детеныша, но кроме капелек крови и клочков шерстки ничего не нашла. С тех пор она оставляла соболят только спящими, ловила поблизости мышей и птичек. Иногда соболят донимали блохи, перешедшие от матери, и тогда на солнцепечном косогоре они отыскивали духмяную богородскую травку и катались по ней, выгоняя блох. Но настоящее беспокойство и угнетение испытывали соболята от клещей. Насосавшись за несколько дней крови, клещи тугими горошинами осыпались в траву, оставляя после себя болючие язвы — присоски. К концу лета соболята повзрослели, они уже достаточно далеко уходили от гайна, питались черникой, скрадывали птичек, гонялись за белками.

К осени у каждого определился свой круг обитания и свое гайно, где, насытившись и набегавшись, соболя отдыхали по два, а то и по три дня, выходили только по нужде в облюбованное место. Большой удачей считается у охотника найти такую уборную зверька, капкан ставится без маскировки, и соболь, спячиваясь, попадает в него. Таким же образом в свою первую зиму оказался в капкане и он, спасло лишь то, что дужки сомкнулись неплотно, между ними застряла веточка. Забился соболь в капкане, но лапу выдернул, изувечив подушечку. С тех пор на снегу оставалась характерная для его следа черточка. Ту зиму соболь пережил тяжело, в основном, кормился рябиной, подбирал оброненную синицами недоклеванную ягоду. И всюду его преследовал запах железа.

Следующие три года он обитал в гольцах, жировал на стланиковой шишке, ловил кедровок и белых куропаток.

В четвертый год его к родному гайну вернул неурожай в гольцах. Тогда он впервые неожиданно попал под собаку. Первоосенок был хоть и прыткий, но не опытный: в азарте проскакивал на зигзагах, возвращался, распутывал след заново, отставал, соболь даже осмелел, обернувшись, злобно урчал, чем немало дразнил преследователя, и все не мог понять, почему не отвязывается. Наконец, соболь описал по склону круг, сбил преследователя со следа и ушел в россыпь. Когда собака разнюхала его, он из-под камней свирепо заурчал на нее и раскаленно сверкнул глазками. Потом послышалась еще чья-то поступь, в проходе с треском зачадила береста, и по лабиринтам россыпи потянул дым. Соболь забился глубже и затаился. Дым его не доставал. Но зверек долго дрожал, охваченный смертельным страхом. Так в его жизнь вошла еще одна привычка осторожности.

Хребет становился круче. Охотник замедлил шаг. Собачий след оставался то с правой, то с левой стороны, — челночный поиск позволял кобелю больше охватывать и прослушивать тайги. Вот здесь кобель резко во всю силу ударил в южный косогор. «Наверное, учуял рябчиков», — заключил охотник, но на всякий случай решил проверить. И, действительно, минут через пять след как по шнуру привел его к ночевкам таежных курочек. По отпечаткам читалось: рябчики, заслышав собаку, вовремя вылезли из-под снега и «брызнули» в разные стороны. Кобель заметался, не зная которого из них преследовать. «Вот дурень, силы попусту тратит, ведь знает, что бесполезно»... Впрочем, было видно. Закат скоро успокоился и потянул прежним направлением. Продравшись следом через сплетения густого ельника, промысловик вышел на старый оползень — открытый небольшой участок, поросший редкими рябинами. В тело помаленьку начинала вселяться усталость. Охотник снял понягу, расправил подзатекшие сутулые плечи и сел на валежину перевести дух.

Прошло более часа, как Закат, облаяв белку, оставил хозяина. Колок за колком он прислушивал тайгу, надеясь уловить знакомый запах. Ему помнился первый соболь, которого он загнал скорее из любопытства и по чистой случайности и который впился в нос мертвой хваткой, когда кобель полез за ним в корни. Визжа и плача, Закат с трудом стряхнул соболя, вмиг закусил и затряс до смерти. После этого случая соболей он разыскивал и гонял с особым упоением. Когда

Закат набежал на соболиный след и уловил слабый прерывистый запах, он, взвизгнув, возликовал и легким наметом пошел за соболем.

След принадлежал очень крупному самцу и размером был не меньше собачьего, отличался лишь тем, что слабее продавливал снег и был другой формы. Ровные спаренные лунки извилистой цепью пересекали хребет. Характерной для следа была черточка, видимо, соболь, поджимая в прыжке задние ноги, чертил коготком. «Чертежник! Неужто старый знакомый, — вырвалось у охотника, — поди, года три не показывался и, на тебе, нарисовался, — охотник внимательно рассматривал след, — точно, тот самый, однако, часов пять, как проскочил». Вмятины, что оставляли соболиные подушечки, были присыпаны снежной крупкой. Охотник не сомневался. Закат наверняка распутывает след, иначе бы давно показался. Вскоре охотник вышел к месту, откуда кобель начал раскрутку.

Сначала след круто спустил вниз, потом поднял вверх, косогором привел к завалу, из которого пришлось долго выбираться, перелезая через полосу свежего валежника, из валежника след потянул к замшелой россыпи, здесь соболь надолго задержался, кружил, вынюхивал пищух. Нелегко было Закату распутать жировку, для среднего чутья такие переплетения пятичасовой давности не по силам. Слышать разницу между строчками — пробегами в три-пять минут способна только тренированная талантливая собака. Было видно, как Закат метался из стороны в сторону между каменных глыб, выходя на более свежую строчку. После этой жировки он часа на три приблизился к соболю. Охотник обогнул россыпь и срезал на выходные борозды собачьего рыска. Вторую жировку Закат распутал быстрее, он описал полукруг и потянул последним ответвлением соболиной цепочки. На этот раз соболь задержался в рябиннике, кормился горьковато-сладкими плодами и заодно подкараулил свиристеля. Развеянные по снегу серые перышки и бусинки крови красноречиво рассказали охотнику о соболином пире. После второй жировки Закат уже надежно держал след «на носу». «Стойкий запах отпечатков дразнил и возбуждал лайку. Кобель заметно прибавил прыти, чуя след на расстоянии, срезал углы и зигзаги, с каждым прыжком уверенно приближался к соболю.

Охотник торопился, он давно распахнул ворот, изредка на ходу омывал снегом лицо. След соболя уже настолько был горяч, что, казалось, парил. Несколько раз охотнику чудился лай, он останавливался, расправлял затекшие плечи, задерживал дыхание, вслушивался.

Соболь оказался опытный. Когда услышал, что к нему кто-то приближается, он повернул голову на шум и несколько раз раздраженно и отрывисто фыркнул. Что-то донельзя знакомое и смертельно опасное вдруг почудилось в этом шуме. Соболь сорвался с места и мячиком полетел вниз. На некоторое время шум отдалился, но после поворота опять приблизился. Более километра соболь отчаянно гнал во всю прыть, на какую был способен, сразу он проскользил ельником вверх и, замыкая кольцо, выскочил на свой прежний след. Теперь соболь видел борозды своего преследователя, от них резко и неприятно пахло. Преследователь неотвязно прослушивался сзади, хотя несколько поотстал. Некоторое время соболь повторял свои следы, но после пружиной взлетел на ель и замелькал верхом, планируя с дерева на дерево с помощью растопыренных лапок.

На кольце Закат осекся, закрутился. Парной соболиный запах сомкнулся и сбивал с толку. Кобель метнулся во внешнюю от кольца сторону и затаил дыхание. Черные кончики ушей напряглись и стали еще острее. Из глуби кедрового колка донеслось дробное цоканье соболиных коготков о мерзлую кору. Закат ринулся в кедровник, с этого момента он держал соболя слухом, то и дело взлетая свечой над снежным покровом.

Заслышав преследователя снова, соболь спрыгнул и зачертил к северному склону, надеясь по глубокому снегу уйти от собаки.

Охотник перевел дух. Солнце показывало за полдень. «Вот тебе и ранний след — до обеда. Куда же ты теперь направишь свои стопы? — по привычке охотник мысленно разговаривал с соболем.—

Только, молю тебя, не в россыпь». Он пригляделся к следу: «Ага, и черточка глубже, и мах короче, пристал... кобель-то полтора маха твоих кроет». Из-под вершины Галанской долетел слабый лай Заката. В груди будто сердце оборвалось. Много раз охотник слышал этот раскатистый угрюмый лай, а привыкнуть не мог, вроде и ожидал, а все равно застигал врасплох. Охотник вслушался: «Похоже, загнал на дерево, однако далековато...»

Кедр доживал шестую и, как оказалось, последнюю сотню лет, был огромен и дряхл. Таких одновозрастных стариков великанов с треснутой у основания заболотью и трухлявой сердцевиной, но все-таки способных еще питать крону и давать плоды, было немного. Они стояли усталыми исполинами, лет двести назад пережившие страшную быль ветровала, который сокрушил более слабое поколение кедров, обратив его в беспорядочно нагроможденные кучи — завалы. «Если соболь пойдет в завалы, — невольно подумал охотник, — собаке не взять». Кедр, который облаивал Закат, отличался от своих братьев тем, что был без макушки, — след ветровала. Ее на тридцатиметровой высоте продолжила боковая ветвь, она развилась в самостоятельный ствол и напоминала мощную, воздетую в небеса руку. Местами ствол был испещрен дуплами, дятлы потрудились на славу, извлекая из него разных насекомых. «Да... такого исполина и втроем не обхватишь». Закат, круто задрав морду, заливался лаем, показывая, что соболь где-то в дупле под верхом. Увидев хозяина, он перестал лаять и только изредка стал повизгивать и поскуливать. «Ай, Закат! Ай, молодец! Соболюшку загнал матерого». В ответ на похвалу кобель завилял хвостом и еще сильнее заскулил. Охотник скинул понягу, достал топор и со всего маху ударил обухом по стволу. Удар глухо погас, не дойдя и до середины. «Не пробить... ну что ж, придется выживать дымком». Охотник запалил в корнях смолевые завитушки, бросил на них сухого гнилья и, держа наготове двустволку, встал повыше. Скоро дым проник в дупло, тонкими струйками зачадил из щелей и отверстий, но, как и звук, дым едва просачивался до половины ствола. Требовался огонь мощнее.

Охотник обошел вокруг кедра, соболь не подавал никаких признаков. Под взмокшие лопатки стал пробираться холод. «Как бы не простыть с поту», — подумал охотник и развел огонь пожарче. Закат сидел на прежнем месте строго и напряженно, редким поскуливанием выдавал беспокойство. «Смотри, не прозевай», — охотник погрел спину, поставил на огонь полный котелок снега. «Да, брат, завел нас соболюшко, но ничего, Хозяин даст, возьмем. На вот... поддержи силенки», — кинул вареную, добытую в прошлой охоте белку. Поймав ее на лету. Закат жадно стал есть, не забывая, однако, следить за кедром. Подкрепившись нехитрой пищей и снеговым чаем, охотник еще раз внимательно со всех сторон осмотрел дерево: соболя не было.

Пришлось прорубить заболонь и запалить трухлявую сердцевину. Сухое гнилье зашипело, задымило, и скоро пламя охватило все надкорневище. Подождав немного, добытчик еще раз обошел вокруг кедра и встал поодаль. Дым густыми клубами выкручивался из проруба, тянул из щелей, дупел. С шумом осыпалось, подъеденное огнем гнилье, на время заглушало пламя, отчего дым становился плотнее. Соболь не показывался. Начинало закрадываться сомнение: здесь ли он? Не ушел ли по залому верхом? Охотник посмотрел на Заката, но тот по-прежнему выслушивал таежные звуки, сидел, не шевелясь, как изваяние. «Закат! где соболь?» Кобель повернул к хозяину седоватую морду и, косясь на дерево, отрывисто и угрюмо взлаял. «Нет, собака врать не будет, здесь он». Дым заволакивал ствол и только под макушкой, подхваченный верховиком, рассеивался. Огонь набирал силу. А тем временем подвечерье заполняло тайгу первой низовой тенью. На хребте, пронзительно всхлипывая, одиноко заплакала желна. Настроение было скверным, начинали коченеть ноги. Охотник, переминаясь с ноги на ногу, все чаще останавливал взгляд на срезе макушки. Если соболь в дупле, дым рано или поздно, выживет его. Одно было подозрительным: долго не появлялся соболь — или слишком упорный, или

задохся в дупле. Подождав еще, охотник утвердился в последней версии, он попробовал было закидать снегом пламя, которое уже облизывало наружную стенку проруба, но огонь с шипением расплавлял снег, исходил дымом и занимался с прежней силой. Окончательно отчаявшись, охотник стал сердито упаковывать понягу. Нервозность хозяина тут же передалась собаке. Закат подскочил, ткнулся в руку и опять, только более настойчиво взлаял. «Неужто вылез...» — догадался добытчик и, как подстегнутый, отлетел с ружьем.

Среди веток, что свисали над срезом, померещилась голова соболя. Охотник вскинул ружье и выстрелил наудачу. Соболь дернулся и повис на срезе. Добытчик откинул ружье и, не осознавая, что делает, полез на кедр. Тонкие отмершие сучки предательски обламывались, охотник безнадежно, скатывался, но пытался снова и снова, пока не резануло сознание: «Шест!».

Моментально была срублена пихтушка и приставлена к дереву. Преодолевая боль в окоченевших пальцах, добытчик подтянулся по шесту и, вконец запыхавшийся, зажал под мышкой основание первого надежного сучка. Было слышно, как внутри кедра, выжигая дупло, шумит огонь, он опять набрал силу и с каждой новой осыпью стрелял из проруба метелками искр. Отдышавшись и отогрев пальцы, добытчик полез выше. Дым все плотнее окутывал кедр, разъедал глаза, забивал горечью рот, и только колебания воздуха, на время отклоняющие его, давали возможность осматриваться и взбираться выше. Под верхом стало легче. Толстые живые ветки надежно держали охотника. Ощущение зыбкой высоты, которое парализующим страхом сковывало движения, отдалилось и облегчило подъем. Добытчик поднимался с ветки на ветку, пока не наступил на витой изгиб макушки. Мертвый соболь висел на подмышках, он чудом не свалился назад в дупло. Из простреленной обвислой головы, окрашивая на сучьях снег, капала кровь. Только и бросилось в глаза охотнику, что соболь невероятно большой и ворсистый. Из дупла упругой струйкой потянул просочившийся дымок. Добытчик торопливо затолкал соболя под рубаху за спину и стал спускаться. Стараясь держаться противоположной от проруба стороны, он быстро достиг середины. Дальше пришлось спускаться вслепую, на ощупь. Тысячу раз пожалел добытчик, что не подшил резиной ичиги, кожаные подошвы, обмылились, скользили на сучках. Спасаясь от дыма, охотник прятал в распахнутый ворот лицо, попеременно грел коченеющие от снега пальцы и, перебарывая страх, который опять вселился в него, продолжал спускаться. «Да... в такую оказию попал впервые. Только бы не сорваться», — единственное желание владело им. И надо же! — охотник уже нащупал спасительный шест, как под рукой обломился сучок. Ичиг скользнул, шест полетел в сторону, а за ним, поджимая ноги, полетел добытчик. Тяжелый потрясающий удар в спину на мгновение выбил из памяти.

Охотник прослушал себя: «Внутренности, кажется, на месте», — он попробовал подняться, но отбитое тело и ноги плохо слушались, надо было отлежаться. «Ну, молодец, молодец! — охотник ласково погладил скулившего кобеля, — давай-ка посмотрим, кого нам Хозяин послал». Кряхтя, добытчик вывернул из-под спины соболя и удивился. Это была редкая особь, настоящий баргузинский кряжь — высокая головка. Шелковистый с проседью ворс отдавал черным сголуба отливом. Охотник дунул в мех, ворс распался воронкой. «Подпушь тоже темная — сквозной! — повернул животом, — желтого галстука на шее нет, везде одинаков.... да-да, такого полуметрового красавца добывать не приходилось, вот отец удивится. Удача, Закат! Удача! На, помни малость». Кобель, злобно урча, потряс соболя, перекинул через голову и стал по нему кататься. Охотник знал: шкуру собака не испортит.

...Отойдя хребтом километра полтора, охотник оглянулся. На вершине Галанской гривы, разрывая в клочья тяжелые сумерки, полыхала гигантская свеча. И сразу же в сердце вонзилась какая-то знобящая и неотвратимая укоризна — рад бы глаза отвести, а не в силах. «Прости меня, Хозяин, прости меня, тайга!»— взмолился охотник...





Владимир Жемчужников

ПЛАЧ ПО КРАСАВИЦЕ АНГАРЕ

В далеком 1836 году, когда еще жив был Пушкин, в Санкт-Петербурге вышли отдельным изданием «Прозаические сочинения учащихся иркутской гимназии». Это была первая в России коллективная юношеская книга. В каждом сочинении необычного сборника, пронизанного патриотическим чувством, воздавалась искренняя, горячая хвала Сибири. Один из гимназистов выражал свои восторги высоким штилем: «Мы не завидуем обитателям величавой Волги... изобильного Енисея. Мы предпочитаем сим рекам тебя, краса родины нашей, вечно быстрая, шумящая, вечно надменная и всеувлекающая Ангара! Тобою гордится край наш, тобою красуются берега и нивы, орошаемые чистыми струями... О несравненная Ангара!»

Всякая река начинается, как известно, с маленького ручейка. У этой же начало — мощный поток глубиной в четыре—шесть метров и шириной около километра. Право, поверить трудно, что отдаваемой Байкалом воды хватило бы для нужд всего населения нашей страны, даже если бы численность его увеличилась в полтора раза.

Исток Ангары, не замерзающий в самые студеные сибирские зимы, без преувеличения можно назвать одним из чудес Байкала. Неостановимая стихия воды, нескончаемо изливающаяся из бездонной каменной чаши озера-моря, производит впечатление настолько сильное и гипнотизирующее, что в древности это место почиталось аборигенами как священное. И все-таки зарождение Ангары не из тех явлений природы, что подавляют своим величием. Скорее, наоборот, здесь человек чувствует нечто поднимающее и окрыляющее дух. Взору его открывается не что иное, как символ свободы: зажатая со всех сторон цепями гор, байкальская вода наконец-то совершает прорыв на волю, тут ей предоставляется единственный шанс, единственный выход.

По месту рождения получила река и свое имя. На бурятском и эвенкийском языках «анга» означает пасть, рот, а в более широком смысле — расщелина, через которую устремляется водный поток. Правда, существует и другая версия: в переводе с тюркского, языка племен, населявших эти берега пятьдесят веков назад, название реки звучит как «чистая, прозрачная». На верхнем участке Ангара такой и сохранилась, сквозь ее хрустальную глубину по всему руслу просматривается дно, вода как будто не имеет собственного цвета и кажется неощутимой, бесплотной.

Если бы русским землепроходцам в 17-м веке захотелось на свой лад окрестить самую необычную из встреченных ими рек, они могли бы дать ей имя Родник-река. Ибо вода ее была не только чиста, но и холодна, словно в роднике, на протяжении многих километров от истока сохраняла в себе дыханье байкальской бездны. Не иначе дивовались пришельцы-христиане: батюшка Байкал, как бог человека, сотворил Ангару по образу и подобию своему. Вне всякого сомнения, у лучшего на свете

озера единственная дочь была под стать ему — лучшая на свете река.

Иркутску, поставленному на берегах Ангары в шестидесяти километрах от Байкала, выпало редкое везение: большой город, чье население в недалеком будущем достигнет миллиона, на зависть многим и многим пьет байкальскую родниковую воду. Качество ее таково, что можно годами кипятить в одном чайнике либо самоваре — на стенках сосуда не появляется никакого осадка. Ангара для Иркутска — это и подарок судьбы, и лучшее украшение города — точно голубая лента через плечо.

Сто лет тому назад А. П. Чехов, любуясь живописной местностью по дороге от Иркутска к Байкалу, нашел, что «берег Ангары на Швейцарию похож».

Ангарское приволье, где вода с таежным воздухом как бы состязались в чистоте и свежести, издавна стало для иркутян любимым местом отдыха. Одна рыбалка, отменно богатая, сколько приносила людям удовольствия и здоровья! Мой знакомый учитель, ветеран войны, рассказывал, как в 50-е годы фронтовая контузия вконец издергала ему нервную систему, обрекла на изнурительную бессонницу. Всякие лекарства перепробовал — не помогало. И тогда врачи посоветовали ему покинуть на время город, пожить на лоне природы, как он говорил, «прописали рыбалку». Вместе с женой он уплыл на лодке к истоку Ангары, поставил там палатку и целыми днями, как, бывало, пацаном в юности, ловил удочкой хариусов и ленков, совершенно не утруждаясь никакими иными заботами. Весь долгий учительский отпуск провел бывший фронтовик на вольном воздухе — и, спасибо реке, сон вернулся к нему.

Исследователи природы с давних пор воспринимают незамерзающий исток Ангары как место исключительное, как ценнейшую достопримечательность Байкала. А интересен он прежде всего единственной во всей Северной Азии массовой зимовкой водоплавающих. Каждую зиму здесь образуется огромная полынья длиной в 10—15 километров, и в этом удивительном сибирском оазисе, над которым струится не знойное марево, а стылый пар, находят приют тысячи птиц из отряда гусеобразных. Зимовка в истоке, по мнению ученых, настолько же древнее явление, как и сам ангарский слив. Зимующие птицы считаются не случайно залетевшей сюда группой, задержавшейся на осеннем пролете, а особой популяцией, которая сумела приспособиться к исключительно суровым условиям жизни. За привязанность к одному месту и другие странности поведения, что так бросаются в глаза, уток-зимовщиц стали называть ангарками.

Сам собою напрашивается вопрос: а отчего же здесь, посередине Сибири, рядом с озером, скованным метровыми льдами, не замерзает река? Это происходит по той причине, что из Байкала втягиваются в речное ложе глубинные водные массы, температура которых всегда выше точки замерзания. Затем они подхватываются довольно сильным течением и, пока охладятся до нуля градусов, их относит от озера на десять—пятнадцать километров. Потому-то в любую зиму тут дымится, дышит полынья, дающая пристанище тысячам уток. Озерный вынос, точно кормовой конвейер, постоянно пополняет запасы пищи для птиц.

Ангарский исток может покрыться льдом только в том случае, когда южным ветром шелонником сгоняются с Байкала ледяные поля, которые способны на несколько дней перегородить русло реки на всю ширину. Однако, как утверждают ученые, такое явление за двести пятьдесят лет наблюдалось всего лишь три раза.

Теперь же — некоторые подробности из жизни ангарок.

Как выяснилось, зимовать остается несколько видов водоплавающих: хохлатая чернеть, морянка, гоголь, луток, крохаль, обыкновенная кряква. Весь световой день птицы находятся в движении, кормятся в полынье, ныряя в толщу воды за мелкими хариусами, бычками, рачками-бокоплавами, ручейниками и моллюсками. По наблюдениям орнитологов гоголи, например, делают до 700 ныряний в день. Быстрым течением уток все время сносит к кромке льда и потому они нет-нет да вынуждены перелетать вверх по реке. С утра до вечера слышатся в истоке негромкие всплески

и характерный свистящий шум взлетающих с длинным разбегом птиц.

После заката солнца ангарки начинают сниматься с полыньи и бесшумно, будто стараясь не выдать себя, небольшими стаями тянутся на ночлег в сторону заледенелого Байкала. Мне случалось не раз наблюдать это странное, какое-то нереальное зрелище — утиную тягу зимним вечером в синих сумерках, на фоне заснеженных гор. И всегда при этом дрожь пробирала и опасение охватывало: да куда же они летят? на погибель свою, что ли? ведь вокруг — только глубокие снега да бесприютная ледовая пустыня озера.

Но почему же птицы не остаются ночевать в той же полынье? Потому что там нет тихих заводей, повсюду сносит вниз течением. К тому же вдоль ангарского каньона, как по трубе, почти каждую ночь тянет студеный хиус.

Долгое время оставалось загадкой, где же ночуют тысячи ангарок, куда улетают ежевечерне, с упорством инстинкта? На этот счет существовало несколько гипотез. И наконец, открылось невероятное. Специальные зимние экспедиции орнитологов и опросы местных жителей доказали: птицы ночуют прямо на льду Байкала, выбирая для «лежек» участки с торосами, которые надежно защищают от ветра. Плотное оперение и жировой слой помогают им переносить морозы.

В иную зиму численность ангарок достигает пятнадцати тысяч. Хотя далеко не всем удается дожить до весны. Чаще всего они погибают в те студеные дни, когда мороз усугубляется резким ветром. При перелетах на ночлег, выбиваясь из сил, птицы падают на лед и замерзают. Иных подстерегает беда и во время кормежки, если сильный северо-западный ветер разгоняет волну и захлестывает воду из полыньи на кромку ледового поля.

Вообще говоря, в зимнюю пору у водоплавающих нет естественных врагов. Единственный и главный враг — человек, безжалостный браконьер, который никогда не дремлет, у которого поднимается ружье на уток даже в экстремальных условиях зимовки. Отстреливать их при таких бедственных обстоятельствах — все равно что бить лежачих. Поистине, ни стыда, ни совести нет у людей, преследующих ангарок, несмотря на режим заказника, действующий в районе истока.

Надо ли кого-то убеждать, как важно сохранить от уничтожения уникальную для Сибири зимовку?

Русский ботаник И. П. Бородин еще в 1909 году в предвидении грядущих экологических бед и катастроф предостерегал: «Раскинувшись на огромном пространстве в двух частях света, мы являемся обладателями в своем роде единственных сокровищ природы. Это такие же уники, как картины, например, Рафаэля. Уничтожить их легко, но воссоздать нет возможности».

Больно думать сегодня о невозможности воссоздать в обозримом будущем... реку Ангару, да-да, ее, которая несомненно была «единственной в своем роде».

Вспомним древнюю легенду о красавице Ангаре. Уж так не хотелось батюшке Байкалу отпускать на волю свою единственную дочь. Как будто предчувствовал, что на пути к могучему Енисею ее до такой степени изуродуют, испоганят, что перестанет походить и на отца родного, и все доставшееся ей по наследству — чистота, красота, богатства рыбные — все пойдет прахом.

Сопровождаемое большим энтузиазмом сооружение первых ангарских гидроэлектростанций уподоблялось в 60-е годы «продолжению легенды». Дескать, если Байкал не сумел остановить строптивую беглянку реку, то всемогущий человек все-таки укротил ее, перегородив ей дорогу. Покорение Ангары воспринималось как безусловное благодеяние. Политика электрификации с помощью энергии рек пользовалась, как было тогда заведено, «всенародной поддержкой и единодушным одобрением». Целью же индустриального штурма и натиска провозглашалось исключительно возрождение Сибири.

И нередко покорительский экстаз грозил перехлестнуть за пределы разумного. Даже вспомнить страшно, как в 1956 году ответственная комиссия рассматривала вариант строительства целлюлозно-бумажного комбината не где-нибудь в глухой тайге, а в 28 километрах от Иркутска, на берегу Ангары, выше города.

И пришла же кому-то идея (ух, горячая голова!) поить столицу Восточной Сибири промышленными стоками.

Зачарованные грандиозными плотинами гидростанций, люди в пылу авралов и не заметили, как задушили этими глухими бетонными перегородками неповторимую реку. Лишив водную артерию главного свойства — течения, движения, превратили ее в цепь громадных водохранилищ, которые спустя время стали именоваться водогноилищами. Без долгих раздумий, без колебаний пожертвовали красотой ради пользы.

Есть ли смысл сообщать читателю, что длина Ангары — от Байкала до впадения в Енисей — равняется 1779 километрам? Сегодня эта цифра уже ни о чем не говорит, потому что протяженность только Братского водохранилища более 500 километров, а кроме него есть и Усть-Илимское, и Иркутское. От прежней реки сохранился, пожалуй, единственный живой кусочек — самое ее начало, исток. Нынче разве что старожилы могут повспоминать, порассказывать, какой была настоящая Ангара.

Плачь, бурятская земля*, плачь русская земля: от легендарной реки остались одни легенды.

Так вот все обернулось: побочным результатом электрификации Сибири стало... разрушение Сибири: покоряли — веселились, покорили — прослезились. От невосполнимой утраты Ангары — всеми ли это осознано? — на земле стало одним чудом природы меньше, стало меньше в жизни поэзии. Во имя светлого будущего (или просто ради электрического света?) многие будущие поколения сибиряков лишили радости общения с удивительной рекой. Тому, кто живет у бывшей ангарской воды, теперь уже не до радостей — избежать бы беды: отравленные промышленными стоками Братское и Усть-Илимское водохранилища стали опасными для здоровья людей.

«У воды и воздуха есть одно общее свойство, которое заставляет относиться к ним особенно бережно, — писал известный советский эколог Д. Арманд. — Будучи в чистом виде основой всего живого, они легко загрязняются, а в загрязненном состоянии могут стать не только бесполезными, но и вредными, ядовитыми для всего живого».

Да уж, чего хорошего ждать от водохранилищ, когда в них спускается даже ртуть. Концентрация ртути в воде, в рыбе угрожает жителям Приангарья страшным недугом, известным в мире как «болезнь Минамата».

На берегах самого чистого в мире озера и самой чистой реки, будто стараясь изранить первозданную природу как можно больней, разместили технократы-авантюристы самые грязные химические предприятия. И превратили реку-красавицу в сточную канаву — таков трагический финал поэтической легенды. Утешаться остается лишь тем, что Ангара, слава богу, вытекает из Байкала, а не впадает в него, иначе она превзошла бы по вредоносности главную отравительницу озера Селенгу.

Заполнение Братского водохранилища закончилось в 1967 году. А накопление в нем вредных отходов более шестидесяти крупных предприятий области активно продолжалось. В результате аварийных залповых сбросов ядовитых промстоков были выведены из строя нерестилища лососевых и карповых рыб, неоднократно отмечались случаи массовой гибели рыбы и нанесенный рыбному хозяйству ущерб исчислялся не одним миллионом рублей.

В моей памяти сохранились и личные впечатления по рыбацкой части. В 1970 году посетил я с небольшой компанией любителей-рыболовов то место на Ангаре, где впадает в нее левый приток р. Белая. Это, стало быть, пониже городов Ангарска и Усолья-Сибирского, в которых в ту пору уже вовсю дымила большая химия. Мы приехали туда в надежде на удачную рыбалку, наслышанные, что в Ангаре водились такие ценные породы «красной рыбы», как осетр, сиг, стерлядь, таймень, ленок, хариус. Да оказалось, поздно мы заявились, надо бы лет на пятнадцать раньше. Несмотря на все старания, нам удалось изловить одного-единственного ершика. А когда попытались сварить чай из ангарской водицы, то и это не получилось, потому что вода была с

---

* Буряты облюбовали верхнее Приангарье еще в начале 13 века.

солнца играли из-за стволов, высвечивали пылинки снежной изморози, тихо опадавшей с голых прутьев и устилавшей и без того чистое нетоптаное полотно проселка. Оборванные ветром листья таились под тонким и рыхлым пока еще слоем снега и заявляли о себе лишь негромким шуршанием под ногой.

Сразу за березняком шло ждановское поле, вспаханное под зиму, снег укрыл на нем борозды, и оно казалось аккуратно причесанным гигантским гребнем. Сережка почувствовал себя дома. Вон и непаханная полоса у края леса — любимое место отца. Весной, когда отец пахал, Сережка приносил сюда обед, отец оставлял трактор поодаль, приговаривая ему, как живому:

— Извини, друг, там другие запахи,— и, сбросив кепку на сиденье, шел к своей поляне неторопливым хозяйским шагом.

Сережка отдавал ему корзинку с провизией, семенил рядом, поглядывая на отца с затаенной гордостью и желанием поскорее вырасти таким же большим и сильным, чтобы так же уверенно шагать по своей пахоте.

А пока Сережка возвращался домой после трудной работы в городе; возвращался той единственной дорогой, по которой вслед за ним должен прийти с войны отец.

Дул ветерок, в степи редко воздух бывает спокойным, поземка начала переметать путь.

Чем ближе подходил к своей Ждановке Сережка, тем сильнее билось у него сердце. Всматривался в знакомые очертания околицы, в крыши домов и тревожился все больше и больше: ни дымка над трубами, ни звука — дверь ни одна не скрипнет, не слышно ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Деревня словно вымерла.

Помимо коровника со свинарником да тракторного двора, одна улица в Ждановке; избы стоят молчаливо по обе стороны проселка, ставни на многих окнах закрыты — берегут тепло, но Сережке кажется: смотреть на него не хотят, не ждут, а может, и ждать некому.

Вот и четвертый дом от края. Ноги у него ослабели вдруг, задрожало веко, но разглядел на снегу три цепочки следов: две со двора и одна обратно. Большие следы — мать на ферму ушла, маленькие — к колодезному журавлю и назад — Нюра воды на коромысле принесла: у калитки выплеснулась из обоих ведер...

Дома все было по-прежнему. Незыблемо стояла печь посреди избы, разделяя ее на две половины, из подпечья торчали сковородник, ухват, деревянная лопата, которой сажают в печь хлеб, когда есть что сажать, в углу — кочерга и полынный веник, привычно пахло вареными картофельными очистками, которыми подкармливали корову и кур.

Нюрка бросилась брату на шею и быстро, как ласковый щенок, обцеловала-облизала ему все лицо. Мишук, посапывая, вылез из-под стола — что-то приколачивал там,— но к брату не подошел, смотрел исподлобья, заложив руки за спину. Сережка сам подступил к нему, тоже набычил голову, нагнулся и легонько боднул.

— А мамка на лаботе,— сказал на это серьезный брат.

— Ну?!— Сережка обхватил Мишутку, поднял и, будто покусывая за ухом, спрятал от младших свое лицо.

Все ждановские уже вернулись с лесозаготовок, рассказала сестра, замученные, а дед Задорожный так и вовсе больной. Его там сильно помяло бревном, которое посунулось на крутом склоне.

— Дедушко помлет, — Мишук внимательно слушал разговор и решил, что сестра не сказала главного.

— Ты уже полные ведра носишь?— без всякой связи с разговором спросил сестру Сережка.

— Давно,— Нюра приняла это как похвалу, одновременно недоумевая: откуда брату известно?

Не раздеваясь Сережка пошел на ферму, чтобы показаться матери. Они там толком и не поздоровались: мать несла сено на вилах, ткнулась сухими шершавыми губами ему в лоб — и все. «Здоров?»— засияли глаза. И Сережка включился в работу, носил в тесный саманный коровник с крохотными подслеповатыми оконцами под крышей сено, раскладывал в ясли; нагружал на сани навоз и вывозил, то и дело попадая ногами в рытвины на земляном полу, заполненные жижей; помогал матери и дояркам таскать фляги — пустые и с молоком; крутил ручку сепаратора, а после помогал разбирать и мыть его. Домой пришли

Ангары — это наша деградация, деградация всего населения области».

«Область не должна существовать на положении бесправной колонии, — твердо заявляет иркутянин Ю. Ковальский. — Зачем нам предприятия-гиганты, не обеспеченные хорошей технологией и очисткой выбросов? По какому праву с Ангарой обращаются, как с ничейной грязной канавой?»

Житель Шелехова Г. Филиппов предлагает кардинальные меры: «Выход один — закрывать предприятия-загрязнители до тех пор, пока не наладят очистку как следует. Сейчас выясняется, что наша промышленность работает в основном для промышленности, а не для людей, так что народ от этого не очень пострадает...»

И хоть поздновато наступило прозрение у наших природолюбов, но хочется все-таки порадоваться: растет, растет экологическая сознательность граждан. Подтверждением того стало и коллективное письмо из Усть-Илимска, в котором сотни жителей города обращаются к властям с просьбой прекратить строительство четвертой ГЭС на Ангаре — Богучанской. Чем вызван столь серьезный призыв? Уже сейчас водохранилищами ангарского каскада затоплено более 60 000 квадратных километров лучших сельскохозяйственных угодий. Новое искусственное море погубит последние пастбища и сенокосы, окончательно подорвет кормовую базу местного животноводства. «А как кормить город? — обеспокоены северяне. — Можно ли надеяться, что энергия Богучанской ГЭС заменит нашим детям молоко?..»

Спасти Ангару — благая цель. К сожалению, сейчас это нереально, говоря словами поэта, «бесполезно плакать и молиться». Пока что главная забота — рукотворные моря, которым грозит гибель от рукотворной же отравы. А спасти Ангару — значит спустить водохранилища, что представляется делом отнюдь не ближайшего будущего.

Сегодня сибирякам надо собираться с силами, чтоб защитить от ретивых природопользователей великую реку Лену. Сгущаются и над нею тучи — где-то в министерских кабинетах уже вынашиваются планы улучшения ее судоходных качеств, намереваются и ее включить в список покоренных: Волга, Днепр, Обь, Енисей, Ангара... А не пора ли крепко задуматься: вырастут ли полноценные поколения среди неполноценной природы? не станет ли народ беднее душой с утратой тех рек, на берегах которых он зародился, обрел самосознание, окреп духом, расправил крылья?

Какие бы ни выдвигались резоны в пользу плотин, Лену — как реку национальной ценности — необходимо сохранить неперекрытой, незапруженной и незагаженной. Пусть далеким потомкам останется образец — вот такими были когда-то в Сибири все реки...

Эпоха научно-технической революции пребывает пока еще в стадии варварства, промышленной цивилизации предстоит набираться да набираться разума и культуры. У человечества, вообще, одна надежда — на медленный, но необратимый процесс поумнения. Несомненно, уже в ближайшем 21 веке старые природоразрушающие технологии начнут решительно отбрасывать. Обязательным требованием для всякой производственной деятельности в городе и на селе станет экологическая безвредность. Главным правилом в отношениях человека с окружающей средой утвердится то, что давно известно из Гиппократовой клятвы, — «Не навреди».

А пока... мы не ведаем, что творим. Нет, не похвалят нас потомки за варварское обращение с природой. Они, конечно же, осудят и осмеют наш чудовищный способ получения «дешевой» электроэнергии — перегораживанием крупных рек циклопическими плотинами гидростанций, неизбежно приводящее в разрушению обжитых мест, уничтожению огромных площадей плодородных окультуренных земель, умерщвлению водных артерий. Будут с чувством превосходства отзываться о нас: предки, мол, играли в запруды, как дети малые, бездумно баловались опасной техникой. Они отнесут наше время размашистого перекраивания природы к периоду беспечности и безответственности в развитии человечества.

И еще вот о чем думаю.

На грядущем суде истории, когда предъявят счет нынешней технической цивилизации за то, что она едва не убила на планете жизнь, одним из пунктов обвинения выдвинут

такой: погубление индустрией реки Ангары, дочери Байкаловой.

Не надо быть пророком, чтобы предсказать: уже в недалеком будущем нас ожидают большие экологические беды и катастрофы, подобные той, что наблюдается сейчас на озере Арал, пожираемом песками. От разрушения природной среды уже страдают целые регионы страны — Урал, Узбекистан, Каракалпакия, Молдавия, Поволжье, Приднепровье и, увы, Приангарье. Дело может дойти до того, что начнется обратная волна массовой миграции — из отравленных индустрией городов в деревни, и ради того, чтобы выжить, люди вынуждены будут менять и профессии, и сам образ жизни. Тупиковая ситуация потребует решительных действий государственного масштаба. Были на нашей земле «великие стройки» — будет и великий капитальный ремонт..

Поговаривают, вроде бы со временем гидростанции из-за фильтрации плотин перестанут себя оправдывать и тогда возьмутся за рекультивацию, восстановление рек. Если когда-нибудь в самом деле грядет срок распружать искусственные моря, то следует начинать непременно с Ангары. Уникальная, как сам Байкал, эта река более других заслуживает возрождения.

Завидую потомкам, которые окажутся свидетелями небывалого чуда — как оживает красавица река. Для сибиряков, которые, уверен, несмотря ни на что, не утратят любви к матушке-природе, наступит великий праздник души — когда исчезнут, как дурной сон, тухлые водохранилища, когда река станет снова соответствовать своему предназначению и имени. Вспомнят люди, что Ангара означает «чистая».

...Зимою я с Ангарой общаюсь постоянно. Каждое утро, прогуливая свою собаку, прихожу на набережную, на остров Юность, что посреди Иркутска. Тут легче дышится, тут воздух всегда чище. Еще до восхода солнца появляются на льду залива рыбаки. Увижу, как они сидят, скрючившись над лунками и укрывшись от ветра в прозрачных пленочных шалашиках, и взбадриваюсь душой: ага, еще ловится рыбка, значит, жива река. И хочется воскликнуть на манер гимназиста прошлого века: «О несравненная Ангара! Прости неразумных твоих «покорителей». Они еще одумаются».





Карлос Балян

□ □ □

Хочу росой сиять в ветвях цветущей родины моей.
Как пахарь в поле, пот пролить — душой угрюмой
просветлеть.

Хочу, как бабушка моя, я к небу руки простереть,
Восславить предков славный прах в веках, а после —
умереть.

Хочу, чтоб сын Армен не знал, как был я в жизни одинок,
И песню радости земной пропеть, а после — умереть.

□ □ □

Композитору С. Чекиджану

Вечных истин достойный певец,
Поклоняйся таланту народа.
Ясных глаз и беззлобных сердец
Не отравит бездушная мода.

Пусть останется в песне твоей —
Боль Севана, байкальское горе,
И пшеница армянских полей,
И брусника саянских предгорий.

Сохрани дорогих своих мест
Непригубленный свет родниковый,
Сохрани, как нательный свой крест,
Чистой песни народной основы.

□ □ □

Л. К.

Я открою дверь в полночь свежую,
А за дверью тьма жутким омутом.
И звезда горит ближе к господу...
Что же ты ко мне не приходишь в дом?

Ты лети ко мне птицей белою,
Пей любовь мою сердцем преданным.
Пусть судьба твоя вновь наполнится
Тихой радостью — приходи в мой дом!

Без воды умрет роза красная,
Напои ее влагой чистою.
Иль милей тебе одиночество?
Синеглазая, приходи в мой дом!

Прогорел огонь в очаге моем.
Все, что я имел, ветер в даль унес.
Ну и пусть несет, ничего не жаль!..
Только ты одна приходи в мой дом.

□ □ □

Любовь безжалостно права:
Сгорела палая листва,
Но сладкий тлен еще струится,
И чуть кружится голова.

□ □ □

Глазами послать поцелуй незамеченный — встать и уйти.
Хоть в мыслях прижаться к груди твоей трепетной —
встать и уйти.
Любовь — неизбывный, из сердца клокочущий страсти родник,
Дай душу омыть изумрудной прохладою — встать и уйти.
Ты — роза, раскрывшая первый бутон свой в весеннем саду.
И мне до зари славить розу заветную — встать и уйти.
Газель тонконогая, ангел небесный в кавказских горах!
Во сне всю тебя дай увидеть; в бессоннице —
встать и уйти.
В гордыне безжалостно сердце мне взрезала плугом
стальным.
Позволь мне тот лемех покрыть поцелуями —
встать и уйти.
Одну лишь струну из твоих золотистых распущенных кос
Позволь мне оставить для саза звучащего —
встать и уйти.
Ну что же ты, Карлос, молчишь, утомленный от песен любви?
Пора позабыть о надменной красавице — встать и уйти!

Перевод с армянского В. Козлова

ВРАЧУЮЩЕМУ НОВОМУ ГОДУ

Новый год, ты приходишь, как будто в бреду.
Старый год уходящий, как горек твой хлеб!
Детский смех захлебнулся в кромешном аду.
Почему я не умер в тот день, не ослеп?

Под завалами стонут и плачут сердца.
Вновь добавилось в мире безвинных сирот.
Сбитый с дерева лист задрожал у лица
И упал у раздавленных райских ворот.

Разве думалось тропам зеленым, пустым,
Что весь мир им придется принять, обрести?
Даже птицы на помощь летели сквозь дым,
Чтобы души погибших на крыльях нести.

Новый год, залечи наши раны! Спаси
Тех, кто болен, кто жив! Приходи врачевать!
Облегченье Армении всей принеси...
Двери году-врачу я иду открывать.

1988 г.

Перевод В. Скифа

Карлос Сираганович Балян родился в 1938 год в с. Ашкале Цалкского района Грузинской ССР. С 1968 года живет в Иркутске. Образование высшее — закончил юридический факультет Иркутского университета.

Пишет на армянском языке. Стихи публиковались в альманахе «Камурдж» (Тбилиси), в сборнике «Молодость, творчество, современность» (Иркутск) и в периодической печати на армянском языке и в переводах на русский язык.



ДНЕВНИК В. Н. ПЕПЕЛЯЕВА*

По прямому проводу от Бурова, сопровождающего на восток полк[овников] Волкова, Красильникова и Катанаева, получена информация о Семенове из Иркутска. Против Семенова они сосредоточивают войска и просят подкреплений.

4.

На заседании в редакции «Русской армии» узнал, что в Уфе арестованы чл[ены] Учред]ительного[собр[ания], которых везут в Омск[31].

5.

От Анатолия прибыл офицер. Письмо. Он наступает. Наступление начато в третий раз. Второе остановилось из-за неподдержки чехами. Между Гайдой и Анатолием некоторая размолвка.

5.

Засед[ание] ЦК. Я поставил два вопроса: 1. О целесообразности принятия поста директора Деп-та милиции и Государ[ственной] охраны и 2. О выходе своем из партии. При этом заявил, что выход из партии мной решен и я прошу лишь мнений без вынесений постановления ЦК.

По первому вопросу Кудрявцев, Соловейчик, Иванов, Корсаков выразили полное одобрение. Клафтон высказал опасение, что реакция перекатится через наши головы и мне не устоять перед ней.

Е.— сожаление, что партия несет потерю без нужды. Но оба они в общем были далеки от неодобрения. Перед суждениями и после них я решительно и прямо развил свои соображения. Мы ответственны (и особенно я) за переворот, и наш долг укрепить власть. Поэтому должны быть самые ответственные посты, даже с риском погибнуть. Резолюции, как я и просил, не принималось. Итак, мой шаг одобрен.

7.

Сов[ет] М-ров решил обратиться к союзникам с нотой о действиях Японии, стоящей за спиной Семенова.

Семенов, уже близкий к подчинению, снова прервал сообщение с Востоком.

15.

Был в тюрьме, в камере у большевиков, у учредиловцев. И те и другие производят жалкое впечатление. Какая-то рвань.

Идет борьба штабных групп, разгораясь все больше. Каждый полагает, что все его поступки в интересах «дорогой родины». Пытаются использовать приезд Жанена, который по инструкциям от союзников должен принять Верховное командование. По мнению одних, это приемлемо, а других — неприемлемо,— и все в интересах родины. Сам

---

* Окончание. Начало см. Сибирь, № 6, 1989.

Жанен не знает, что делать. Будут вырабатывать какую-то формулу. Этим займется и ставка, и Сов[ет] Министров. Сейчас Сов[ет] Мин[истров] этот вопрос обсуждает.

24.

В ночь на 22 — восстание в Омске. Нападение на тюрьму. Захват ее, восстание на ст. Куломзино (6 верст от города). К утру подтвердилось, что восстание не организовано. К вечеру в 22 ч. с. было ликвидировано[32].

26.

Анатолий 24-го взял Пермь.

28.

«Заря» ведет кампанию, углубляя вопрос о расстрелах... Либеральные зайцы тоже лепечут о бессудных расстрелах.

29.

Обозначаются предстоящие перемены в Совете Министров. Влияют разные факты, притом противоречивые. Приобретает влияние правый блок. Упоминается имя Гондатти.

1919 год

Запись этого рода посвящаю памяти брата Логгина, геройски павшего за Родину 1 января (19 дек.) 1918 года.

Январь

17.

Кратко обстановка. 1) Адмирал Колчак признан Деникиным.

2) Союзники все еще не решаются нам активно помочь (странное предложение Англии, газ. 17 января).

3) На Пермском фронте наступаем; на Уфимском отступаем.

4) Внутренняя политика подчинилась дипломатическим задачам, что неправильно и опасно.

5) Ощущается полоса Керенщины (декларация пр-ва от 12 января, телеграмма Маклакова о необходимости включения Авксентьева в Парижский Комит[ет][33].

6) Учредильщики готовятся к союзу с большевиками («Заря», 17 января). Необходим твердый курс и ясный план,— чего нет.

18.

Все больше и больше недовольство министров внутренних дел. Замечается раздраженность по отношению к союзникам. Статьи в газетах и разговоры.

Тел[еграмма] из Парижа (17 января о том, что Англия рекомендовала Франции предложить всем русским правительствам, включая и Советское, — примириться) принята некоторыми как известие, компрометирующее Англию.

21.

Я сам думаю, что пора перестать просить милостыню.

Я провожу мысль, что внутренний курс должен быть освобожден от подчинения иностранной политике.

25.

Получено радио из Парижа от 23 января. Конференция предлагает всем русским организациям, имеющим власть и армию (Сибири и Евр. России в гран[ицах] до войны, за исключением Финляндии и Польши), прислать своих делегатов на Принцевы острова, где они могут свободно изложить свои условия союзным правительствам[34].

Союзники, значит, вернулись к тому, что говорили нам в Москве и Петрограде в марте-апреле 1918 г. Или никогда от того не отходили.

27.

Многие возмущаются. Есть недовольные. Некоторые мудрят. Союзники, видите ли, подготавливают этим свое общественное мнение к интервенции.

По-моему, у союзников дипломатия уже волочится по улице. От Сазонова совет — безусловно отказаться от предложения.

28.

В офицерстве крепнет монархизм.

К Верховному Правителю едет из Японии адмирал, его личный знакомый[35]. На этот визит смотрят, как на начало нового периода в русско-японских отношениях.

Если правительство хоть сколько-нибудь

поколеблется в ответе на предложение конференции, оно достойно проклятия.

По настоянию офицеров из корпуса Анатолия я на прошлой неделе поднял вопрос о мобилизации интеллигенции, студ[ентов] и гим[назистов]. (В блоке уже прошло. Записка подана нач[альнику] штаба Гл[авкома] и воен[ному] м-ру и встречена сочувственно). К-д. поддерживают.

29.

Доходят сведения об откликах на предложения товарища Вильсона. Эстонцы отказываются.

Подтверждаются данные, что Чернов, Веденяпин и др. сволочь братаются с большевиками в Москве.

Февраль

В ночь на первое февраля снова попытка взбунтовать полки в Омске. Однако солдаты бунтовать не хотят. Изранено несколько офицеров. Несколько тяжело.

Правительство перепугано монархическим несуществующим заговором: монарх — кн[язь] Кропоткин. Я заявил министрам, что все это ерунда. Заговора, конечно, нет. Но, разумеется, монархические настроения растут.

Растет японская ориентация. Я даже удивился, с какой легкостью ее воспринимают министры, которые недавно еще не хотели ничего о ней слышать. На днях говорил с некоторыми из них.

Мы сохранили верность союзникам, перенесли ее через все страдания. Война кончена. Все — у источников новых разногласий и новых войн. Для нас на первом месте Россия наша, и мы должны быть свободны в выборе союзников и смелы в решениях. Вот простое исходное положение.

Ю. В. Ключников, б[ывший] м-р ин[остранных] дел уезжает в Париж через Японию, Америку. Я с ним послал письмо Маклакову со своими выводами.

1.

Совет М-ров во вчерашнем заседании решил определенно отклонить предложение союзников о Принцевых островах.

Молебен по случаю ухода 51-го и 52-го полков на фронт. Большевики пытаются смутить уходящие полки.

4.

Я назначен товарищем министра вн[утренних] дел. В моем ведении будут деп[артамент] общ[ественных] дел, отдел воинск[ой] пов[инности], отдел печати и деп[артамент] милиции.

С. убежден, что государь и его семья убиты.

Сегодня вместе с министрами был на встрече Верховного Правителя, возвратившегося с фронта. Были французы, англичане и японцы. В числе последних и адмирал Танака; адмирал Колчак его выделил большим вниманием. Иностранцы вскоре ушли. Впечатление Верховного Правителя такое. Поездка дала положительные результаты. Отношение к правительству земств и городов хорошее, и чем ближе к фронту, тем лучше. Настроение войск хорошее. Снабжение плохое. На фронт ничего не доходит.

Март

Через неделю после назначения товарищем министра я отправился в служебную командировку в губернию Томскую, Енисейскую и Иркутскую. В Енисейской губернии — выяснить характер затянувшихся беспорядков. В Иркутске — политическую надежность Управления. Томск — по пути. Мой выход вполне бодрый.

Народ бунтовать не хочет. Он сильно раскачался и не может сразу остановиться.

Беспорядки носят бандитско-большевистский характер. Население парализовано и как бы отрезано бандитами от власти. Власть должна лишь туда проникнуть, уничтожив бандитов, и тогда море окончательно утихнет. Власть, логически близкая к населению, физически от него далека. Необходимо скорее поставить аппарат Управления.

Мной намечена целая система мер (скоро появится интервью).

25.

Сделал доклад о положении на местах Верховному Правителю в присутствии министра. О беспорядках сказал, что они не имеют общегосударственного характера. Верхов-

ный Правитель слушал с большим вниманием. Между прочим сказал, что, по моим наблюдениям, Д[альний] Восток от нас уходит помимо своего желания, что необходима живая связь с ним и нецелесообразно и даже вредно какое-либо изменение в положении с Верх[овным] уполномоченным без личного общения с ген[ералом] Хорватом.

На это Верховный Правитель заметил: да, да, необходимо лично.

Затем я остановился на необходимости проезда по всей Сибири Верховного Правителя или, если это возможно, то высших чинов министерства.

Адмирал сказал: «Нужно сегодня же об этом поднять вопрос в Совете. Мне скоро предстоит ехать на фронт снова, а туда когда же?»

Я на это заметил, что если есть хоть малейшая возможность принять героическое решение и ехать лично, то это был бы самый совершенный способ окончательно укрепить власть. В конце Правитель благодарил меня за поездку и доклад.

Министр еще до доклада ознакомил меня с обстановкой, как она ему представляется. Он окончательно поссорился с военным министром. Он почему-то считает, что правительство существует под угрозой переворота. Правительство, по его словам, настаивает на отставке воен[ного] мин[истра] Степанова, а Правитель не хочет ее.

Он лично подал тоже в отставку. Кандидатами на пост мин[истра] вн[утренних] дел выставляют Гондатти, Тельберга и меня. Адмирал будто бы склоняется к моей кандидатуре. По поводу моей телеграммы об Енисейских беспорядках адмирал сказал м-ру: «Очень спокойный тон»,— и сам просил идти со мной для доклада.

Представители «общественности» информируют меня о моей кандидатуре. В газ[ете] «Заря» было напечатано, что правые группы выдвигают Пепеляева.

Министр остается и уезжает в Томск, его замещает тов[арищ] министра Грацианов.

Март

Нужно было ввести настоящее военное положение в Енисейской и Иркутской губерниях. Артемьев просил ввести его по полевому управлению войск. Адмирал поручил Мартьянову совместно с подлежащими м-рами в один день составить проект. Мартьянов составил приказ по полож[ению] о пол[евом] упр[авлении] войск. Я настоял на переделке по прил[ожению] к ст[атье] 23 об[щего] упр[авления]. Военный министр согласился. Так прошло. Этим разрублен запутанный узел разных правил о воен[ном] положении, в том числе смехотворных правил 15 июля. Но могут счесть наш шаг «неконституционным». Пусть.

Апрель

3.

Сегодня у меня на службе был военный министр. Речь шла о дополнительном призыве интеллигенции (по новым признакам). Призыв по первому закону дает мало.

Я сделал сегодня отдельный доклад Верховному Правителю. Я убеждал его совершить отдельную поездку по стране. Он знает, что это нужно и важно, но необходимо ехать на фронт. «Я не скрою от вас, что скоро я думаю перенести ставку в Екатеринбург и тогда еще больше буду прикован к фронту».

В дальнейшей беседе он сказал, что, может быть, до Иркутска поездка возможна, т. к. отнимет меньше времени. Я сказал, что поездка могла бы быть совершена под лозунгом осмотра новобранцев Омского и Иркутского военных округов. Верховный Правитель согласился.

Блоки и т. д. заняты обсуждением кандидатур министров. При разговорах о МВД они вращаются около меня, но я боялся. Левой части я страшен.

Апрель

4.

Совет Министров. Закон о бунте. В конце секретная часть заседания, ген[ерал] Романовский делал доклад о Д. Востоке: «Японцы и американцы». Заслушана телеграмма Иванова-Ринова о возможности разрешить семеновский вопрос на известных условиях. Условия касаются и Семенова и

японцев. По мнению Иванова-Ринова, вероятна японская помощь и на Зап[адном] фронте. Обсуждения не было, только вопросы, но из них вытекает, что «японская ориентация» берет верх. Только Сукин старается оттянуть. Условия лично-Семеновские не велики. Японские — серьезнее: признание самоуправления бурят и тунгусов.

Совещание при ставке о гражд[анском] управлении. Виделся с Лебедевым. Говорили на тему совещания (выше), в частности, о самоуправлении, на театре военных действий: возможны по назначению, там где состав управы скомпрометирован содействием или сочувствием большевикам.

На днях был у меня офицер П., приехавший из-за границы, где пробыл часть 17-го года и весь 18-й. Жил преимущественно в Париже, Лондоне и Канаде. На западе большевизм весьма возможен. Во Франции формируются две силы: большевистская и роялистская. Между ними — социалистическая неопределенность.

Маклаков и пр[очие] подыгрываются к социалистам. Ген[ерала] Гурко затравили, как и его кружок.

Сегодня был у ген[ерала] Дитерихса. Он за скорейшее «соглашение» с Семеновым. Семенов сам по себе малозначителен. Это хороший русский человек. За ним японцы, с которыми нужно сближение и договор. Семенов как и железные дороги Кит[айская] ж. д. — яблоко раздора между японцами и американцами. В ж. д. победа за американцами. Японцы не хотят победы Америки и в вопросе о Семенове. Последний — это престиж японцев. С ним нужно соглашение, и тогда сами японцы заставят его держаться в пределах подчинения Верховному Правителю. Всякое наше сближение с японцами не только не обострит отношений с другими союзниками, наоборот, они будут вынуждены к большему вниманию.

Для окончательного договора нужно время, но уже месяца через два можно достичь появления японцев на нашем фронте.

В Америке, по сведениям Дитерихса, сильная борьба между республиканцами и демократами.

Если мы заключим соглашения с Японией, республиканцы будут нам помогать. Вильсон же против военной помощи нам.

У меня был В. С. Колесников, прибывший из Нью-Йорка, где он живет. Его прислал Башкиров узнать, что тут делается.

В Америке о России ничего не известно.

Кроме тенденциозных писаний Бернштейна, никаких попыток не делается. Не знали ни о Директории, ни о смысле падения ее, ни о значении нынешнего правительства.

В Америке действительно борьба двух партий — респ[убликанской] и демокр[атической]. В Конгрессе большинство принадлежит республиканцам.

Против Вильсона — большая кампания.

Из слов Дитерихса и Колесникова я не могу понять разницу идеологий двух борющихся партий. В чем дело?

Каждая страна — особый мир!

10. чет[верг].

Мой доклад Верх[овному] Правителю. Гражданское управление на фронте. Люди, система и полож[ение] о полев[ом] Управ[лении] войск.

10.

У меня был ген[ерал] Романовский и Дитерихс. Дитерихс думает, что через два месяца мы можем быть в Москве. Романовский весьма правильно подходит к ориентации. «Мы не должны быть ни японофилами, ни американофилами. Мы должны пользоваться всеми. Русская ориентация. Да.».

11.

У меня был Дутов. Впечатление от него неопределенное. Разговор шел о местных делах и о восстании в Кустанае, которое только что подавлено.

13.

Панихида по Корнилову в Казачьем соборе. Были Верховный Правитель, воен[ный] и морс[кой] министры, 4 тов[арища] м-ра — Наштаверх и Дутов. Совет М-ров не был. Вечер. Сов[ет] Мин[истров]. Я высказал свою точку зрения на гражданск[ое] Упр[авление] на фронте.

14, пон[едельник].

Ночью приехал министр в[нутренних] д[ел] из Томска. Утром он был на совещании в ставке по вопросу о гражданск[ом] Упр[авлении] на фронте.

Мне пришлось говорить о своей личной точке зрения. Был и Дутов.

Днем министр сделал нам (тов[арищам] министра) «доклад» о своей поездке. Он больше всего рассказывал о приютах, чем об управлении страной.

После его сообщений я указал на недопустимость поставленных сегодня на повестку дня Сов[ета] Мин[истров] грациановских законопроектов (Врач[ебно]-сан[итарного] губ[ернского] упр[авления], Ветер[инарного] сан[итарного] упр[авления] и отд[ела] призр[ения], разбивающих всю систему местного управления. Я заявил, что если эти законопроекты пройдут, я подаю в отставку.

Грацианов стал что-то объяснять, министр, по обыкновению, не понял, кто прав.

Вечером у меня с министром было большое объяснение. Я указал на свое полное расхождение с Грациановым и с самим им. Я решительно заявил о необходимости снять законопроект, что он по телефону и сделал. Разногласия: назначения, система мест[ного] Управ[ления], отношение к воен[ному] вед[омству], к ставке, непродуманные ходатайства перед правителем за арестованных, отсутствие курса, медленный темп работы, система откладывается.

15.

Я подал в отставку. Предварительно я сказал м-ру, что с Грациановым служить не могу из-за принципиальных разногласий. Министр сказал, что Грацианова, как ценного работника, он лишиться не может.

Тогда я сказал, что подаю в отставку и подал.

Вечером у меня было бюро блока, до коего дошли уже слухи об отставке.

Просили объяснить причины, упрекали в том, что я поторопился, тогда как этот вопрос уже намечался к разрешению, спрашивали о взглядах. Я на все дал ответ, но вел беседу в таких тонах, которые свидетельствовали, что каких-либо договоров я ни с кем не желаю заключить и останусь самим собою. Бюро от меня направилось к Вологодскому и Тельбергу.

Вечером со мной говорил ген[ерал] Мартьянов по поручению Верховного Правителя. Правитель выражает удивление, что я сделал этот шаг, не доложив ему. Я просил передать мотивы, почему подал в отставку и почему не доложил.

16.

Мне доложили, что Верховный Правитель примет меня завтра в 2 часа дня.

Меня вызвал министр и заявил, что мое прошение он передал вчера во время заседания Вологодскому, но тот положил его к себе в карман, сказав, что это несвоевременно. Затем министр стал меня упрекать и произошел полный разрыв.

17.

Я был принят Верховным Правителем. Беседу он начал в форме упрека. Я снова изложил, почему подал в отставку, не доложив ему. Затем перешел к существу. Изложил внешние проявления разногласий и самые разногласия. Затронул вообще вопрос о курсе. Его базой хотел сделать какой-то третий элемент. В М-ве же в[нутренних] д[ел] совсем нет никакого курса, нет согласованности в отдельных его частях и нет общей цели. М-во не ставит плана и местным властям, и не приводит в систему. Взаимоотношения с воен[ной] властью испорчены и вопрос об администр[ативном] Управлении освобождаемых быстро местностей висит в воздухе. В м-ве робость к поднятию больших вопросов. Свое мнение я сопровождал примерами. В конце я заявил, что в таких условиях я прошу освобождения и уйду на фронт, ибо это больше соответствует традициям нашей семьи.

Правитель просил меня этого сейчас не делать, обождать и лишь через некоторое время решить этот вопрос о возможности или невозможности остаться.

Я сказал, что я исполню это желание, но просил ускорить выяснение поднятых вопросов. «Да, это надо скорее».

Правитель просил меня без доклада ему не заявлять об отставке.

После меня в четвертом часу был принят Гаттенбергер.

19.

Был у нач[альника] Шт[аба] Верх[овного] Гл[авнокомандующего] по вопросу о гр[ажданском] упр[авлении] театра воен[ных] действий. Нач[альник] Шт[аба] сказал, что Верховный Правитель приказал переговорить об этом со мной.

Около часу у меня был гос[ударственный] контролер Краснов — заместитель Председателя Сов[ета] Мин[истров]. Спрашивал, хочу ли я, чтобы сегодня ставился вопрос о моей отставке.

На мой утвердительный ответ он сказал, что большинство министров того же взгляда.

Предполагают, что министр, когда моя отставка не будет принята, сам подаст в отставку. Ее примут.

Вечером Краснов сообщил мне, что моя отставка не принята подавляющим большинством (кажется, 1 против, 1 возд[ержавшийся].

При обсуждении проявилась мысль, что неприятие отставки может повлечь отставку министра.

Министр, объясняя мою отставку, заявил, что принципиальных разногласий нет, есть только в деталях; что разногласия у него с другим тов[арищем] мин[истра] Грациановым. Это последнее было встречено недоумением. Затем обсуждение происходило в отсутствие Гат[тенберге]ра.

Решение Совета было Красновым уже сообщено м-ру, на что тот неопределенно выразил мысль о невозможности совместной работы. В обществе вопрос о моей отставке рассматривается, как вопрос о дальнейшем курсе правительства. Я и сам так смотрю, иначе нельзя.

Я лишь ускорил постановку общего вопроса. Но я вовсе не за поворот вправо. Я за сближение с самим народом.

22, п о н [е д е л ь н и к].

Как мне передают, много говорят о моей отставке и не допускают возможности ее.

Если кризис примет затяжной характер, я предпочту совсем устраниться, чем участвовать в какой-то игре, когда нужно работать. Уйду на фронт. Передают, что обывательский отъезд на пасху встречен некоторыми иностранцами с недоумением.

24.

Был с прощальным визитом ген[ерал] Романовский. Он уезжает в Японию.

25.

Сов[ет] Мин[истров]. Обсуждение прошения об отставке Гат[тенберге]ра отложено до Вологодского, но дан отпуск. Вр[еменное] Управление возложено на меня.

27.

Я не вступаю, т. к. Г-р, заявил, что в отпуск он не едет.

28, п о н [е д е л ь н и к].

Приехал из Томска Председатель Совета Министров.

29.

Я вызван Вологодским. Он, видимо, не в курсе: спрашивал меня, нужно ли ставить вопрос о моей отставке. Я ответил, что она уже не принята. Отставка Гат-ра, по словам Вологодского, будет принята. «Не предрешаю вопроса о том, кто будет назначен м-ром. Возможно, что я предложу возложить вр[еменное] упр[авление] мин[истерством] на Вас». Я на это сказал, что если это вр[еменное] управление затянется, то я предложу меры, обеспечивающие мой курс в м-ве и не допущу изолированных выступлений. Пред[седатель] Сов[ета] Мин[истров] старался принять меня сухо, но это ему не удалось.

Вечером Сов[ет] Мин[истров]. Отставка Г-ра принята и я назначен вр[еменным] упр[авляющим]. Был вызван в Совет.

30.

Совет Верх[овного] Правителя. Участвуют: Пред[седатель] Сов[ета] Мин[истров], министры вн[утренних] дел, ин[остранных] д[ел], фин[ансов] и упр[авляющий] делами С[овета] М[инистров]. Совет — по средам и субботам в доме Правителя.

Май

1. чет[верг].

Мой доклад у Верховного Правителя.

2.

Сов[ет] Мин[истров]. Разразился правительственный кризис. Отставка мин[истра] юст[иции] Старынкевича и м[инистра] пр[одовольствия] Сапожникова.

3, сб.

Совет Верховного Правителя. Решено отозвать Иванова-Ринова.

6, вт.

Мой доклад у Верховного Правителя. Он сказал мне, что я буду сегодня назначен управляющим министерством. К канд[идатуре] Полидорова он просил отнестись, как я комическому эпизоду.

Вологодский вчера был у Верховного Правителя с проектом о Полидорове. Вернувшись, он распорядился заготовить указ о моем назначении.

Верховный Правитель сегодня уезжает. Потому Совет Правителя был сегодня. Вечером Совет Министров. Вологодский заявил, что Верховный Правитель признает желательным назначить вр[еменных] управляющих м-ми — управляющими и сделать это именно сегодня.

Потому он предлагает Совету это принять. В частности, т. к. его кандидат Полидоров не встретил сочувствия, то он на пост упр[авляющего] МВД, не имея других кандидатов, не возражает против назначения В. Н. Пепеляева.

Он предлагает также упр[авляющего] М[инистерством] труда Шумиловского назначить м-ром труда. Все это произошло в 5 минут.

Должность ком[андующего] войск[ами] Приам[урского] воен[ного] округа соединена с должностью в[ерховного] уполномоченного на Д[альнем] В[остоке].

10.

Я бываю у Вологодского с докладом по средам и субботам. Сегодня я с ним объяснился.

14.

Совет Верховного Правителя собрался, хотя Правитель на фронте. Второй раз заседание Совета Правителя без него. Из Москвы приехал Леонов, посланный к Центру еще при Директории. Он на днях делал доклад в Сов[ете] Мин[истров].

17.

Совет Верховного Правителя. Верховный Правитель прибыл сегодня с фронта. Его встречали министры, военные и иностранцы. Среди встречающих был Дутов (не у дел).

На фронте положение трудное. Западная отступает. Судьба страны в руках Анатолия и его солдат. Совет был продолжителен.

Вопрос о размещении иностранных войск на ж. д. Американцы.

Семенов, по-видимому, ликвидируется, наконец [тел]еграмма Романовского о готовности японцев). Есть данные, что Иванов-Ринов затягивал соглашение с Семеновым.

Парижский комитет, Сазонов и Маклаков потеряли голову, сочувствуют намерению Нансена кормить Петроград и протестуют против «националистов», которые этому препятствуют. Мы дышим разным воздухом.

21, ср[еда].

Сов[ет] Правителя. Реорганизация Воен[ного] управления.

22.

Моя беседа с мин[истром]. Его больше всего интересовало Земство. Мне пришлось прочесть часовую лекцию.

20, вт[орник].

У меня был князь Куракин, представитель Архангельского правительства. Вот его конституция и состав. Председатель Чайковский (мин[истр] ин[остранных] дел), ген[ерал]-губ[ернатор] и упр[авляющий] воен[ными] дел[ами] Миллер. Управляющие отделами: вн[утренних] д[ел] — Игнатьев Н. И., юст[иции] — Городецкий, просв[ещения] — Зубов П. Ю., торг[овли] и пром[ышленности] — Н. В. Мефодиев, фин[ансов] — Куракин, ком[андующий] войсками — генерал Марушевский. Там был свой военный перево-

рот 6 сен[тября], в результате которого был арестован архангельский Комуч. Как везде.

23.

Совет Министров. Совершилась реорганизация воен[ного] управления. Лебедев назначается воен[ным] мин[истром] с оставлением в д[олжности] Наштаверха. Это — героическая мера. Будут ли героями исполнители. Доклад князя Куракина в Совете.

24.

С[ове]т Верховного Правителя. Верховный Правитель сообщил, что Семенов уже согласился подчиниться и завтра будет приказ.

25, воск[ресенье].

Газеты трубят о скором признании[36].

Вчера Анатолий вызвал меня по проводу. Положение у него тяжелое.

Встречные бои. В приказе красных говорится, что сопротивление колчаковских банд не сломлено только на фронте Сиб[ирской] армии.

25.

Телеграмма ген[ерала] Гайда Председателю Сов[ета] Мин[истров] с настоянием удалить ген[ерала] Лебедева, которого он отказывается признавать. Ставит в вину «безумные директивы». Угрожает отводом своих войск. Гинс от имени министров, которых Вологодский вызвал к себе, уведомил Гайду, что в этом вопросе Сов[ет] Мин[истров] не будет действовать особо от Верховного Правителя.

Затем состоялся Совет Верховного Правителя, на котором Лебедев обрисовал обстановку. Верховный Правитель заявил, что будет говорить с Гайдой решительно.

Верховный Правитель почти весь день говорил с Гайдой, даже отменил доклады.

Веч[ером] в Сов[ете] Мин[истров] стало известно, что конфликт почти исчерпан. Гайда заявил, что он подчиняется. Верховный Правитель сказал, что он назначит комиссию для расследования действий Лебедева.

28.

Сов[ет] Верховного Правителя: вращались около вопроса с Гайдой. Верховный Правитель рассказал о своем с ним разговоре.

29.

На докладе Верховный Правитель предложил мне ехать с ним сегодня на фронт.

30.

Поезд Верховного Правителя. После завтрака Адмирал позвал меня к себе. Час говорили о Гайде. Адмирал находит, что его надо уволить.

31.

Стоянка на ст[анции] Билимбай. Ходил с Мартьяновым и Самойловым в поселок (завод) Билимбай. Были в земской вол[остной] управе. Смета: 53 тысячи, из коих 40 тысяч на содержание состава управы. Милиция — 25 чел[овек] на участок. Нач[альник] участка — быв[ший] народный учитель.

Июнь

1.

Около 11 часов утра. Пермь. Почетный караул. Штаб и сам Гайда, Верховный Правитель пригласил Гайду в вагон и меня, нач[альника] шт[аба] Сиб[ирской] арм[ии] Богословского и Нач[альника] пох[одного] штаба полк[овника] Акиктявского.

Тяжелая сцена.

Верх[овный] Правитель сразу начал с существа. «В тяжелом положении виноваты вы, ваше превосходительство». Гайда старался изложить обстановку, но Правитель прервал. Я изложил взгляд министров: «Телеграмма вызвала удивление: Сов[ет] Мин[истров] не решает таких дел отдельно от В[ерховного] Правителя».

В[ерховный] Правитель потребовал, чтобы Гайда выехал в Омск, где он решит вопрос окончательно:

— Можете ли вы остаться ком[андующим] арм[ией]? Исполните ли мои приказания?

После нескольких возвращений к тому,

что уже было сказано, Гайда сказал, что он исполнит.

— Могу ли я вам верить?

— Ваш вопрос, в[аше] в-во, для меня обида.

В[ерховный] Правитель повторил вопрос: «Могу ли я быть уверен, что вы не предпримите ничего против меня?» Гайда молчит. Тогда я прервал тяжелую паузу: «Верх[овный Правитель не сомневается в ваших рыцарских качествах, генерал, но его вопрос вытекает из обстановки». Тогда Гайда ответил: «Если бы это были не вы, ваше в-во,— да, тогда бы предпринял, а против вас нет».

Около часу Гайда у меня. Говорили долго. Гайда сказал, что он с Верховным Правителем беседовал более спокойно. Гайда сначала вел беседу в тоне: «Я уже не вернусь на русскую службу». Затем стал излагать план войны и меры к улучшению командования. Да, Гайда с искрой Божией.

В половине 2-го я выехал на ст[анцию] Верещагино. Анатолий встретил меня со штабом. Затем мы были с ним почти все время вдвоем. Он не знал о телеграмме Гайды. Но в критической части согласен с ней. Гайда, по его мнению, необходим. Он умеет заставлять работать. Гайда не опасен. Он и не захочет на кого-либо посягнуть, да и не может, Он все-таки чех.

— Какие гарантии, что Гайда не противопоставит себя Верховному Правителю?

— Да я — гарантия. Об этом ты можешь даже сказать Верховному Правителю.

Положение фронта Анатолия весьма удовлетворительно, но ввиду отхода Вержбицкого может стать опасным. Ан[атолий] все-таки наступает и возьмет скоро Глазов. При продвижении он будет мобилизовать.

Вернулись в 2 часа ночи. Мне доложили, что Верховный Правитель примет меня в 9 часов утра.

2, п н.

Принимал с утра администрацию: гор[одских] гол[ов], пред[седателей] з[емских] у[прав] и др. Доклад у Верховного Правителя. Разговор с Богословским: он ничего не знал о телеграмме Гайды и об его разговоре по аппарату узнал лишь потом из ленты.

Получено сообщение Сукина, что гр[аф] Мортель и он выезжает в Тюмень с нотой Клемансо. Екатеринбург. К нам прицепился ген[ерал] Дитерихс.

3.

Тюмень. Граф Мортель передал ноту Клемансо[37]. Втроем: Правитель, Сукин и я составили ответ. Проект ответа Сукин привез с собой. Я настоял на некоторых существенных изменениях в п. 3 и 4 (Финляндия и др. нац. вопросы). Нота — проект ответа Сукина окончат[ельный]. Ответ у меня есть. Ответ был готов в 4 1/2 ч. дня и вечером передан из Ишима по прямому проводу во Владивосток. Я был у гр[афа] де Мартель с визитом. Переводил Пешков. Граф выпытывал меня насчет земства, что делают все иностранцы. Не так давно Виффен, сегодня Мартель, а завтра будет Вильтон. Ген[ерал] Дитерихс много рассказывал об убийстве царской семьи.

Когда народ перестанет быть бессовестным, он еще придет рыдать у этих могил.

Стихи Гендриковой или Ольги Николаевны.

Сукин рассказал, что мой отъезд толкуется самым невероятным образом.

4.

Прибыли утром в Омск. В числе встречавших не было Гайды, но был Иванов-Ринов.

Совет Верх[овного] Правителя. Он рассказал о Гайде. Решения он еще не принял.

5.

Мне говорят о необходимости высылки из Омска некоторых лиц. Я сам вижу, что это надо.

На докладе Правитель говорил о том же.

О ноте строятся догадки. По-моему, не нужно скрывать ответ. Клафтон получил ответ от Милюкова и Сазонова на свои вопросы. Ответ весьма содержателен. Я рад, что в своих поправках к ответу Сукина смотрел на дело так же, как Милюков и Сазонов. (Конечно, в общем).

Вечером меня интервьюировал Вильтон. Снова земство.

Вчера был у меня Новицкий, отправленный мною из Челябинска в период «Совещания» в Москву. Много важного и интересного в рассказах, документах и газетах.

Астров действительно в свое время сообщил Виноградову, что не пойдет в Директорию. От Астрова я должен был одновременно с Вин-вым получить письмо. Оба письма вез чешский офицер Часка, но я почему-то не получил письма.

Новицкий говорит, что моей работой весьма довольны и шлют самые лестные приветствия.

Н. привез Адмиралу письмо от ком[андующего] войсками Закаспийской области, при коем он и состоит.

Адмирал пожелал его принять, а сегодня он был у Вологодского.

Выслал несколько лиц из Омска.

Гайда возвращается командовать Сиб[ирской] армией — это мудрое решение.

7.

Молебен и парад по случаю годовщины свержения большевиков. Парад произвел блестящее впечатление.

Сов[ет] Верх[овного] Правителя. Ничего особенного.

Я поднял вопрос о Семиреченской области и о Туркестане. Нужно ускорить их очищение при помощи иностранцев.

8.

Новицкий вчера был принят Правителем.

У Деникина ок[оло] 120 000, армия кубанцев —60 т.; Донцев —30 т., Терцев —10 т. и офицерство —20 тысяч.

У меня был генерал Сычев, приехавший от Донского правительства.

Деникин лишь главнокомандующий. Донская же область вместе с ее правительством Деникину не подчинена. Таким образом, на юге три власти: Пр-во Всевеликого Дона, Кубанское (рада) и Правительство при добровольческой армии, формы которого неясны.

Был ген[ерал] Хорош[кин]. В Уральском войске восстановлена власть Атамана, коим избран ген[ерал] Толстов с диктаторскими полномочиями. Трения между прежним правительством (Фомичев и др.) и военными кругами развивались с момента Омского переворота. Пр-во, собственно, не признавало адмирала Колчака. К этому прибавились внутренние разногласия, и дело кончилось упразднением уральского правительства. Не обошлось без арестов. Это было в марте. Среди казачьих представителей здесь, в Омске, нет единодушия. По-разному относятся и к походному атаману Дитову. Он выехал сейчас на Д. Восток.

10.

Совет Министров. Прошел, хотя и с поправками, мой законопроект об участковых помощниках управляющих уездами. В министерстве сейчас много проектов. Вообще сдвинуты с мертвой точки вопросы управления.

Ген[ерал] Гайда приказал Анатолию отойти на левом фланге.

11.

Совет Правителя. Положение на фронте весьма тяжелое— частичная деморализация. Верховный Правитель задержал меня и Тельберга и просил заняться вопросом о Гос[ударственном] Совете.

12.

У меня был с визитом высокий комиссар Англии сэр Эллиот.

Сукин ознакомил меня с телеграммой Коковцева Правителю, переданной японской миссией. Коковцев обвиняет Парижское Совещание (Львов и др.) в стремлении создать русское новое правительство, под контролем союзников. Такая же телеграмма от Трепова, также переданная, в которой указывается на то, что Пар[ижское] совещ[ание] состоит из членов Вр[еменного] правительства.

Трепов рекомендует переменить послов, которые связаны с этой организацией, в частности Париж рекомендует гр[афа] Коковцева.

Я доложил Правителю составленную мной телеграмму ген[ералу] Юденичу, где, м[ежду] пр[очим], говорится: «Верховная власть на освобожденной вами территории принадлежит правительству, возглавляемому Верховным Правителем адмиралом Колчаком, и осуществляется вами именем Верхов-

ного Правителя. Поэтому никакого нового правительственного образования на вверенной вам территории допускать не следует». Правитель одобрил.

Во время моего доклада от ген[ерала] Жанева спрашивали, не может ли Правитель принять по чрезвычайно важному делу.

Чехи в Иркутске что-то затевают[38]. Туда уехал Жанен. Телеграмму Юденичу я несколько изменил. Смысл, конечно, тот же.

14.

Совет Правителя. Мы получаем ряд приветствий. Чаще всего из Архангельска. Мы живем на проценте тех эффектов, которые произвели весенним наступлением. Положение весьма тяжелое. Но мне кажется, что стратегическое положение большевиков несравненно хуже нашего.

Разговор с Новомбергским.

16.

Сукин прислал мне текст ответа союзников на нашу ноту от 3-го июня из Тюмени.

17.

Я провел в Совете зак[онопро]ект о гос[ударственной] охране. Несколькими днями раньше принят зак[онопро]ект об участ[ковых] пом[ощниках] упр[авляющих] уездами. А еще раньше об устройстве милиции. Уже утверждены штаты самого министерства.

Рассматриваются междуведомственной комиссией штаты губ[ернского] управления.

Во вторник будет слушаться зак[онопро]ект об учреждении деп[артамен]та госуд[арственного] приз[рения]. Закончено составление зак[онопроек]та, [вносится] о Гл[авном] упр[авлении] по делам мест[ного] хоз[яйства]. Внесен об учреждении врачебн[о]-санит[арного] управления (в междуведом[ственную] ком[иссию]).

Идет переработка положения о сельск[ом] управлении. Дано движение проекту о земск[их] избират[ельных] правах — для полутора месяцев как будто неплохо. Но и этот темп работы не удовлетворяет. Мы можем дать больше.

18.

Обычно два раза в неделю я бываю у Вологодского и делаю ему сообщение о внутреннем положении.

Я убеждаюсь, что он совершенно не в курсе событий. Его как бы все забывают. И подчас мне искренно жалко этого доброго и слабого человека, который сделал все-таки много по воле судьбы, которая не всегда выбирает сильных людей.

Совет Правителя. Ген[ерал] Дитерихс назначен командующим фронтом: Сиб[ирской] и Зап[адной] армиями. Чехи в Иркутске совдепничают.

19.

Открытие госуд[арственного] экономич[еского] совещания[39].

Непродуманность, с одной стороны, и никчемность — с другой. Я получил телеграмму, что в Енис[ейской] губ[ернии] ликвидация идет к концу. Взяты Степно Божейское и Тасеево — два гнезда большевизма.

Беседовал с Лебедевым. Наше положение не так плохо. У нас есть резервы.

20.

Был с министрами на чествовании Ядринцева. Затем Сов[ет] Мин[истров]. Вологодский сказал мне, что, во 1-х, Гайда ушел, во 2-х, Деникин признал адмирала.

Военный обзор: мы по всему фронту отходим на севере без давления противника. Деникин прекрасно наступает. У Юденича нет подкреплений. Сукин огласил телеграмму Деникина, которая завтра будет опубликована.

21.

Совет Правителя. Правитель подписал указ об отобрании в казну земли у крестьян сел[ений] Степно Божейского и Тасеевского. Он спрашивал моего мнения об этом, в последний доклад я ответил утвердительно.

2.

Решено Деникина назначить заместителем Верховного Главнокомандующего: Верховный Правитель поднял вопрос шире, во-

обще о преемнике на случай несчастья. Но данн[ый] Совет этого не касается.

3.

Сазонов считает, что хотя признания формального еще нет, но нужно все-таки отметить перемену в положении и подтвердить полномочия послов.

4.

Правитель решил обратиться к Маннергейму с просьбой содействовать успеху Юденича пропуском наших военных через финляндскую границу. Их не выпускают из Финляндии, м[ежду] тем их 8000 чел.

24.

Доклад. По окончании доклада Правитель уже у дверей заговорил о Гайде.

По его словам, Гайда позволил ряд бестактностей. Ему была подчинена в оперативном отношении Зап[адная] армия. Это стало известно и его начали поздравлять. Тогда как это была лишь оперативная мера, не подлежащая оглашению. Затем он в приказе оскорбил командный состав Зап[адной] армии. Те обратились к Верховному Правителю с просьбой предать его суду. Правитель тогда назначил Дитерихса. Гайда приехал в Омск и заявил, что, желая подчиниться непосредственно Правителю, он просит отпустить его в Чехию. Верховный Правитель сначала в этом отказал. Затем предоставил решить самому. Гайда уехал в Екатеринбург, и, как поступит, неизвестно.

Газета «Заря», пользуясь инцидентом с Гайдой, наплела все то, что у этих господ всегда есть про запас. Правитель чрезвычайно возмущен этой статьей и приказал газету закрыть.

От Правителя я поехал к Лебедеву 1. Насчет «Зари». 2. Подчинение Мариинского уезда ген[ералу] Розанову для подавления. О «Заре» он уже сделал распоряжение. О втором условились.

Сов[ет] Министров. По вопросу о союзе земств и городов произошел большой спор между мной и теми, кто за редакцию Мин[истерства] юст[иции]. Он спроектировал возможность союза земств и городов по всем вопросам компетенции самоуправлений. Я отстаивал целые союзы. Я остался в меньшинстве (3 гол.). Сов[ет] Мин[истров] подошел к этому вопросу с точки зрения «уступчивости». Я доказывал, что раз мы решаем вопрос о союзе органов государственного правового значения, то должны решать не вопрос — «можно ли», а вопрос «необходимо ли». По выходе Сукин сказал мне, что я произнес сегодня блестящую речь, а также, что м-ру вн[утренних] д[ел] надо предоставить право закрыть союз.

Он голосовал, как и другие, против меня.

Совет Правителя. Текущие дела. Правитель несколько настроен против Сибирской армии. Кое у кого есть тенденции отмечать «заслуги» Зап[адной] армии, которые выражаются главным образом в том, что она «уже пережила кризис». Тогда как Сибирская только что начинает его переживать. Как будто кризис Сибирской армии начался изнутри ее, а не из-за неудач Западной. Правитель огласил телеграмму Анатолия, в которой тот указывает, что больше 100 чел. Барабинского полка перешло к красным и что предохранить армию от развала можно лишь наступлением. Кое-кто хочет из этой телеграммы почерпнуть доказательства того, что и Западная армия не виновата в своем отходе, а также и того, что Сибирская отходит не вследствие разгрома Западной, а вследствие «кризиса» в ней самой. Правитель ищет объективной правды и, я надеюсь, что Дитерихс поможет ее найти.

27.

Доклад Верховному Правителю текущего характера.

Совет Министров. Зак[онопро]ект о союзах зем[ств] и гор[одов]. При постатейном чтении я нашел неожиданную поддержку со стороны Гинса, который доказывает, что зак[онопро]ект М[инистерства] юстиции слишком много вопросов передает в устав, тогда как они, ввиду важности, должны бы регламентироваться самим законом. Он имел частичный успех, т. к. было решено разработать условия вступления в союз и проч. Сов[ет] Мин[истров] принял зак[онопро]ект Мин[истерства] юст[иции] «О комитете для обес-

печения порядка и законности в управлении». В него входят: м-ры вн[утренних] д[ел], воен[ный] и юст[иции]. Я придаю этому комитету чрезвычайное значение и поддержал проект, настояв на некоторых поправках.

Воен[ный] обзор. (Делает полк[овник] А.) Анатолий перешел в наступление. Большевики напирают на Кунгур. На остальных частях фронта нажим ослабел. Предвидят возможность падения Перми. У уфимских казаков крупный успех: взяли пленных, 10 орудий, патроны и т. д. Деникин идет вперед. У Юденича заминка.

28.

Совет Правителя. Сукин сообщил, что Юденич заключил соглашение с Финляндией.

29.

Правитель неожиданно выехал на фронт[40].

1919 год

июль

1.

Это будет самый тяжелый месяц. Вероятно, на днях будет оставлена Пермь, если не произойдет чего-нибудь. Сегодня в Совете Министров делался обычный обзор. Нас уверяли, что Западная армия пережила кризис и почти прекратила отход. Сегодня мы видим, что она за несколько дней весьма подалась назад. Общий смысл событий тот же, что и в начале,— Сиб[ирская] армия отходит, главным образом, из-за отхода Западной. Из желания кончить Гайду здесь искажают смысл происходящего. Этому должен быть поставлен предел.

3, четверг.

Вечером оставлена Пермь.

Наша флотилия сгорела. В реку был выпущен мазут, а кто-то [его] поджег. Так погибло 25 судов. Смирнов этого не сумел предвидеть.

Я поднял среди министров вопрос о более авторитетных докладах [в] Совете Министров по военным делам, чем те, которые делаются сейчас,— они поверхностны и тенденциозны; в них стремятся больше кого-нибудь обвинить, а других выгородить. Мое предложение будет осуществлено.

4.

Совет Министров. Доклад генерала Андогского о фронте. Сказано не все. Телеграмма от Деникина о политическом совещании.

6.

У меня был ген[ерал] Розанов, приехавший из Красноярска. Беседа была весьма содержательной. Я старался, между прочим, обратить его внимание на Урянхай. Выяснился общий взгляд.

Совещание. Сукин сообщил о проекте соглашения Юденича с Финляндией. Финны за участие во взятии Петрограда требуют признания безусловной независимости, самоопределения населения Карелии и Олонецкой губ[ернии] и т. д. Предложение отклонить и ответить в духе нашей ноты. Предстоит решить вопросы о чехах; воевать они не расположены. В связи с этим выдвигается вопрос о приглашении японцев к охране к западу от Байкала. Поднимает этот вопрос ставка, Сукин не возражает. Деникин занял большое пространство: Екатеринослав, Богодухов, Белгород, Лиски, Новохоперск, Балашов, Царицын. Возможно, что дальше наступление будет труднее.

На одном из советов Правитель сказал, что получил сведения, раскрывающие смысл фраз Деникина об измене в тылу. Вокруг его борются две партии: одна — за связь с Сибирью и признание адмирала, другая — за самостоятельный поход на Москву. Своим признанием Правителя Деникин, очевидно, хотел положить предел неопределенности, которую желали использовать. А последним актом он отправил в путешествие беспокойных людей.

9.

О политическом совещании телеграфировал Нератов. Очевидно, у Деникина случилось нечто вроде переворота: часть — Драгомиров, Нератов, Соколов отправлены в Па-

риж как бы для информации Омского правительства; другая часть оставлена.

9.

Вечером прибыл Правитель с фронта.

В вагоне он нам (Вологодский, Тельберг, я, Сукин, Лебедев, Андогский) сообщил свои впечатления. Положение отчаянное. Возможно, будут сданы Екатеринбург и Челябинск (по мнению ген. Дитерихса).

10, четверг.

Совет Правителя. Решено упразднить должность Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке. Хорват совершенно бездействует. Будет назначен комвойсками ген[ерал] Розанов. Досадно, что Хорват не приехал в Омск.

Я давно уже стараюсь разрешить вопрос об Урянхае. Как будто бы подвинулось. Край нельзя терять.

Притязания Финляндии, выставленные ею при переговорах с Юденичем по вопросу о походе на Петроград, признаны явно неприемлемыми. Документ есть.

11, пятница.

Мой доклад. Правитель не начинал разговора, я тоже. Совет Министров. Прошло упразднение Верховного уполномоченного.

Председательствовал уже Тельберг, так как Вологодский сегодня уехал в месячный отпуск на дачу[41].

Доклад Андогского. Мы сильно отходим. Значительное число дивизий будет отведено в глубокий тыл для оформления. Из мимолетной беседы с Андогским я еще не усвоил ясно будущего строения действующей армии. Вместо Сибирской армии будет как будто две армии. Одной из них будет командовать Анатолий, другой — Лохвицкий. Гайда ушел.

13.

Совещание. Вопрос об отношении между ставкой и правительством и о плане войны. К конкретным результатам не пришли, хотя некоторый итог в смысле выводов есть — это обнаруженная тенденция приблизить ставку к правительству.

Японцы приглашены в количестве 2 дивизий для охраны дороги к западу от Байкала вместо чехов.

Через два месяца кончится всякая помощь Англии. В сущности, в Англии помогают нам два человека — Черчилль и Бальфур. Против Черчилля идет сильная кампания.

5-й день нет данных о деникинском наступлении. Сведения черпались из большевистских радио; их теперь нет.

Приезжие за последние дни из деникинской армии передают чрезвычайно интересные вещи: Деникин не пользуется популярностью; кумиром армии является молодой ген[ерал] Врангель. Деникин перед признанием адмирала был якобы накануне ареста. Совещание относится враждебно к Омскому правительству.

15.

На докладе правитель заговорил о фронте и сказал, что Анатолий будет командовать Северной армией.

Совет Министров. Решено в пределах компетенции государственного экономического совещания осведомить его об общем положении — в части совещания.

16, среда.

Совет Правителя. Тельберг не успел рассказать о предстоящем сегодня выступлении Устругова в государственном экономическом совещании, как правитель гневно потребовал запретить государственному экономическому совещанию вторгаться не в свою область.

Вызвал Андогского и разнес его за сообщение в экономическом совещании. Удалось уговорить. Я доказывал, что нужно проявить выдержку, и лучше ускорить окончание сессии, чем прибегать к репрессии в виде закрытия, на чем настаивал Правитель.

Мне казалось, что удачным влиянием можно через экономическое совещание ликвидировать вредную общественную свистопляску, начатую блоком.

Заседание экономического совещания. Де-

лали сообщения Устругов и Исамоти*). Задавали и мне вопросы, на что я ответил: «Управляющий Министерством внутренних дел испросит разрешения у председателя Совета Министров дать исчерпывающие сведения». Это будет касаться только вопроса о беженцах.

В совещании я узнал, что попытка группы членов его подсунуть политическую резолюцию (из 5 пунктов, из них главный — ответственное солидарное правительство) окончилось неудачей вследствие противодействия других.

17.

В левых кругах смакуют неудачи. Даже «государственно мыслящие» на время поплелись за теми, у кого всегда на уме священный тезис: «если правительство терпит неудачи, надо предъявить к нему требования». Кто поправее,— ругает за неиспользование японцев, полевее — слышать не хотят о японцах и ругают за нежелание воевать чехов, проистекающее, по их мнению, от недостаточной демократичности правительства. Поправее — казаки, полевее — Белорусов.

18, пятница.

Доклад Правителю. Изложил настроение «общественности». Правитель несколько раз прерывал меня: «Их надо арестовать!» Но я довел доклад до конца, из коего он мог убедиться, что все это не заслуживает столь большого внимания. Совет Министров по предложению Тельберга назначил меня министром. Генералы Бурлин и Андогский сделали весьма обстоятельные доклады о реорганизации армии.

19.

Общественная буря разразилась делегацией к Тельбергу, который совместно с Сукиным внес успокоение. Паника начинает вообще стихать. А доходило до того, что я нашел необходимым произнести речь чинам ведомства.

Совет Правителя. Красные активны только на Челябинском направлении. Политическое совещание в Париже[42] прекратило деятельность ввиду объединения правительств (телеграмма кн[язя] Львова).

От деникинской делегации из Парижа пришла подробная информация.

Такаянаги — ничего определенного. Он опроверг перед Сукиным приписанное ему в «Новой Заре» заявление о помощи на фронте.

20.

Днем меня вызвал правитель и задал вопрос о последней резолюции Иркутского земского собрания[43]. Я назвал ряд возможных мер, чрезвычайных и нормальных. Он просил к вечеру доложить.

Я советовался с Тельбергом и другими министрами и остановился на предании суду. Яковлева решил вызвать в Омск. Вечером снова был у Правителя. Он одобрил. Много говорил со мной на тему об общем положении, о сегодняшнем приеме блока (в течение двух часов). И вдруг сказал: «Знаете, не кажется ли вам, что диктатура должна быть действительно диктатурой?» Разговор на эту тему не углубился. Правитель одобрил мое намерение съездить на фронт.

21.

Приехал Н. К. Волков. Интересного он рассказывает мало, так как ехал почти четыре месяца.

У меня был с визитом ген[ерал] Такаянаги, сидел около часа. Дипломатических тем не затрагивалось. Больше вопросы о внутреннем устройстве. Он очень интересуется общественным мнением и вопросом о том, будет ли Учредительное собрание, или созвано какое-нибудь государственное совещание.

Говорил по прямому проводу с Иркутском. Первый случай репрессии по отношению к земскому собранию. Я приказал произвести расследование об обстоятельствах принятия резолюции и возбудить судебное преследование. Во время разговора сместил временно управляющего губернией Агапьева и передал временное управление Цецерину.

---

*) Так в тексте

Яковлев вызван в Омск. Он сейчас в отъезде.

22, вторник.

У меня был с визитом Бандидо-Хамбо-Лама, глава Урянхайского духовенства[44]. У них тоже борьба партий. Хамбо-Лама хочет подкрепить свой авторитет русским шариком.

В Урянхай назначен ген[ерал] Попов, только в воскресенье выехал. Большевики прорвались туда, нужно разрушить это гнездо непременно. Китайцы там не страшны.

Доклад обычный.

Совет Министров. Я провел последний организационный закон о главном врачебно-санитарном управлении. Теперь надо решительно перенести центр тяжести в управление. Законодательствование кончено.

23.

Совет Правителя. Ничего большого. Под Челябинском будут бои, которыми сейчас занято внимание Правителя. Он отменил даже доклады министров, за исключением моих и министра внутренних дел.

Реорганизация армии продолжается.

В Омск на днях прибыл американский посол Моррис (хотя в качестве как бы посла Вильсона, а не Америки). Чувствую, что наступает американская неделя, а может быть, и месяц.

24.

Выступил в государственном экономическом совещании по вопросу о беженцах.

25.

Сегодня меня вызвал по проводу из Тюмени Анатолий. Он почти безнадежно смотрит на положение, если армия, «которую нужно создавать снова», не услышит от самого «народа» призыва к борьбе. Этот призыв от народа он мыслит себе в образе только «земского собора», который нужно созвать «немедленно». Он ждет этого созыва, заявляя, что иначе не верит в создание армии, и хочет уйти. Я ответил ему, что не верю вполне в этот способ, и вообще не верю в искусственные меры, принимаемые от случая к случаю. Обещал продумать, доложить Правителю и приехать к нему для более тесного взаимоосведомления. С провода я был у Правителя в час своего доклада. Изложил ему беседу и предложил съездить на фронт, куда мне вообще нужно, кстати — разъяснить Анатолию обстановку, из которой он увидит, что голос народа получить не так просто. Правитель просил меня съездить.

В ставке, пока я дожидался провода, я узнал, что Челябинск нами потерян, хотя, быть может, и не окончательно. Верховный Правитель объяснил мне обстановку на фронте и смысл боев в районе Челябинска, которые начнутся частью сегодня, частью 28-го. «Ген[ерал] Дитерихс, — сказал Правитель,— был против этих боев и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск,— в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боев армия все равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что я пережил за эти дни!»

Верховный Правитель, действительно, выглядит измученным.

26.

Совет Правителя. Еще до совета Андогский сказал мне, что начало боев «плюсовое».

Сукин сообщил полученную из Токио телеграмму. Комитет по всеобщей политике Японии обсудил вопрос о посылке войск на запад от Байкала; понимая мотивы, по которым мы об этом просим. Япония, однако, не может этого сделать, ибо это не будет понятно для ее общественного мнения. Далее идут хорошие слова и готовность помогать на Востоке.

29.

Сегодня выезжаю пароходом на фронт к Анатолию. Цель — переговорить с ним, лично увидеть фронт и проверить Тобольскую губернию. Правитель принял меня вчера и дал письмо для Анатолия, которое писал при мне и прочел. Поводом к нему послужило письмо Правителю ген[ерала] Дитерихса, в коем последний пишет о разговоре с Анатолием и ген[ералом] Зеневичем, когда они подняли

вопрос о земском соборе. Письмо правитель написал довольно резко и раздраженно.

Август

13, среда.

Приехал в Омск, узнал, что кризис. Блок и экономическое совещание, т. е. то, что называет себя общественностью, вопиют. Здоровее течение в качестве — прямой подъем.

14.

Министры хотят, как и общественность, чтобы ушли Михайлов и Сукин. Я был у Вологодского с докладом.

15.

Был у ген[ерала] Хорошкина. Затем у ген[ерала] Дитерихса. Он бодро смотрит на положение и готовится наступать. С Анатолием он переговорил и выяснил все вопросы, к обоюдному удовлетворению. У меня был Белорусов. Принимал журналистов. Вечером Совет Министров высказался за отставку Михайлова и Сукина и за перемещение Тельберга и Гинса по должности главноуправляющего.

Мой доклад [в] Совете Министров о выезде.

Прибыл Правитель.

16, суббота.

3 ч. дня. Совет Министров. Верховный Правитель принял отставку Михайлова и не [отпустил] Сукина.

Совет Верховного Правителя. Правитель удручен «кризисом». Он подписал указы о Тельберге и Гинсе, но отложил о Михайлове, сказав, что предварительно [поговорит] с Л. Гойером.

17.

В газетах беседа со мной. Михайлов получает отставку.

18.

Беседа министров с Моррисом. Записываю ее подробно, ибо пребывание здесь Морриса — это, может быть, завершение периода наших отношений с союзниками и начало нового. Моррис хорошо говорит и — человек наблюдательный. Сначала производит неприятное впечатление заносчивостью позы, которое, однако, потом рассеивается. Он подробно изложил свои взгляды. Главные затруднения правительства («кризис») — в экономике, а не в военных неудачах. Никакое другое правительство не справится с задачами, пока не будет разрешен экономический вопрос. А он не может быть разрешен без помощи извне. План помощи разработан здесь представителями всех держав и сообщен их правительствам. Всего Сибири нужен кредит 200 миллионов долларов, из коих 90 миллионов — на армию. Железнодорожная помощь заключается в: 1) технике, 2) финансах, 3) охране пути. Для охраны нужно, по заключению ставки, 40 тысяч штыков. Моррис послал правительству Соединенных Штатов совет послать это количество войск. Затем идет помощь товарами. Здесь Моррис не сказал чего-либо вполне определенного. По мнению Морриса, помощь имеет смысл лишь в случае ее немедленности в пределах трехнедельного срока. Окончить его доводы...

18.

Я был у атамана Иванова-Ринова. У него, по его словам, к 1 сентября будет 4 дивизии, т. е. 18 тысяч штыков и сабель. Он высказывается за упор Верховного Правителя на казачество и деревню.

19, вторник.

Верховный Правитель принял меня вечером. Говорили о съезде крестьян. Вчера об этом мне говорил Иванов-Ринов, который сегодня был у Правителя. Я спросил, говорил ли он об этом с Ивановым-Риновым.

«Да говорил и он, но я сам об этом думал». Я сказал, что с самого разговора с братом о земском соборе я думаю о совете крестьян в форме или съезда представителей волостных земских управ или особых делегатов от волостных сходов, и предложил обдумать конкретно этот вопрос к его возвращению. Он едет сегодня в 3-ю армию, потом во 2-ю, всего дней на пять. Я рассказал Правителю о действиях генерала Гайды в Иркутске, что мне сообщил приехавший управляющий губернией Яковлев. Ген[ерал] Гайда, злоупотребляя именем Анатолия, го-

ворил общественным деятелям о необходимости переворота.

20.

Совет Министров. Сукин сообщает, что при Юдениче все-таки создалось правительство, которое признало независимость Эстонии.

22.

Совет Министров. Доклад о фронте. Потерянное соприкосновение с противником уж налицо снова. Он перегруппировался, две армии вместо трех. Южнее Кургана он наступает. Деникин хорошо наступает. Блестящий проект основных положений о выборах в Учредительное собрание.

24.

Так как большинство съезда — настоящие крестьяне, то я решил поговорить с ними о милиции. Кажется, произвело прекрасное впечатление. Я еще больше верю в съезд крестьян.

25.

Я был с отдельным визитом у майора Кошека. Говорили о многом. Кошек не исключает возможность участия чехов на фронте.

26.

Доклад Правителю. Говорили, между прочим, о добровольческом движении. Министры, однако, плохо этим интересуются.

28.

Верховный Правитель со мной и ген[ералом] Голицыным был на собрании беженцев с Урала. Многолюдность, подъем. Встреча и простонародность собрания сильно подействовали на Правителя. Он произнес прекрасную речь. Будучи у него после собрания, я сказал ему, что задача моя — приблизить его к простому народу. Собрание же убедило его в этой необходимости и верности. Правитель предложил мне ехать с ним на фронт.

29.

Совет Министров. Доклад Сукина о союзниках. Среди глав (?) Совета Министров снова идея комитета обороны, представителем коего называют меня. Я не в это верю.

Генерал Х[орошкин] рассказал мне о казачьей конференции. Позиция неопределенна, форм нет. Вчера делегация от казаков была у Правителя. Иванов-Ринов едет на фронт.

30.

Совет Министров в присутствии Верховного Правителя. Правитель сделал простой и ясный анализ положения. Наши неудачи от приступа к большевизму, который еще неизжит. От этих приступов не спасут никакие перемены в Совете Министров. Между тем вред несомненный от перемен — налицо. Вывод — никаких перемен. Никаких также изменений сейчас в положении государственного экономического совещания. Потом это возможно. Правитель далее изложил сделанное ему заявление казаков. Верно, что ничего определенного. Наконец, правитель сказал несколько слов о фронте, где готовится наступление.

Сентябрь

1.

Ген[ерал] Андогский сообщил мне по телеграфу о крупном успехе у Анатолия. Разбиты 6 полков красных и отходят. Был момент, когда потребовалось участие в бою даже штаба армии, который с писарями ходил в бой.

2.

Доклад. Верховный Правитель настаивает, чтобы я ехал с ним на фронт. Он едет 4—5 сентября.

3.

Сегодня я получил письмо от А. В. Карташова из Гельсингфорса от 25 мая (с оказией). Оно вводит в круг работы русских деятелей Финляндии за полгода. Как всегда, раздор внутри, и Юденич, видимо, не активен совсем. Им вертят. Русский северо-западный корпус мал и гол. Эстония и Финляндия презренно заносчивы. Совет Правителя. Сукин сообщил, что получены сведе-

ния о свержении Юденича в пользу Родзянко офицерами, недовольными социалистическим правительством Лианозова и бесполезностью унижения перед Эстонией. Решено выждать и подтвердить оказание помощи персонально Юденичу. Правитель поделился сведениями с фронта.

4.

Я получил телеграмму от Карташова через Набокова. Становится совершенно ясным рождение лианозовского кабинета[45]. Этот «переворот» устроен английской миссией. «Независимая» Эстония пока не дает ответа, пойдет ли она на Петроград. Возможно, и не даст. Такова всегда плата за унижение. Карташов не участвовал в нем. 5—14 сентября поездка на фронт с Верховным Правителем. Были в 3-й армии. Верховный Правитель объезжал войска, а я волости.

15.

Совет Правителя. Верховный Правитель предложил обстановку на фронте. Сукин — отношение союзников к правительству и антиправительственному движению эсеров, я дополнил сведения о последних: сибирских эсерах, сибирском Комуче и пр.[46]. Присутствовали: Краснов, Гинс, Устругов, Сукин, Гойер, я, Дитерихс, Дутов, Будберг. Обмен мнений сосредоточивался на вопросе о созыве законосовещательного органа. Некогда писать все мотивы. Решено учредить государственное земское совещание. Верховный Правитель издает грамоту.

16.

Мой доклад. Я сообщил, что ген[ерал] Розанов ничего не сообщает об обстановке на Дальнем Востоке. Правитель предложил передать ген[ералу] Розанову категорическое приказание сообщать все министру внутр[енних] дел. Советом Министров заслушана грамота.

17—18.

В городе чешские и казачьи круги распространяют слухи о совершившемся будто бы во Владивостоке образовании нового правительства. Слухи эти смакуются любителями. Я отправил ген[ералу] Розанову телеграмму с требованием (освещения) обстановки, с намеком на последствия дальнейшего молчания. Жду ответа.

19.

У меня был главнокомандующий Восточным фронтом генерал Дитерихс, говорили о многом: общем положении — внешнем и внутреннем, милиции, военно-административном управлении. Дитерихс обещал ввести приказом обязанность начальников военно-административного управления делать доклады министру вн[утренних] дел. Дитерихс сказал, что он 2 часа тому назад отстранил Иванова-Ринова от командования корпусом за неисполнение приказания оперативного характера (рейд на Курган) и заменил его ген[ералом] Беловым. Совет Министров. Текущие дела.

20.

У меня был ген[ерал] Дутов. Он назначается снова командующим Оренбургской (отдельной армией). Он начинал разговор об Иванове-Ринове в связи с отстранением.

21.

Совместное совещание Совета Министров и пяти представителей гос[ударственного] экономического совещания. Наибольшие прения, доходившие до остроты, возбудили вопрос о месте государственного земского совещания в системе государственных установлений. 5 представителей хотели под прикрытием этого вопроса изменить акт от 18 ноября. Я предложил поставить вопрос прямо об этом и не подходить как бы нечаянно. Вопрос неясен. Я лично готов изменить акт 18 ноября, но в пользу Верховного Правителя, а не в пользу случайных людей.

Вчера ушли первые отряды Святого креста и мусульман — 500 штыков и 100 сабель. 18-го им был сделан ген[ералом] Дитерихсом смотр, который совпал с молебствием по случаю грамоты. Были министры. Всем понравились дружины, а раньше некоторые министры советовали мне не связывать своего имени с этими «черносотенцами» и их

движением. Я же предпочитаю связывать. На смотр из министров был приглашен только один я.

22.

У меня был ген[ерал] Нокс. Он взял резолюцию Сибкомуча для сообщения Черчиллю. От последнего он получил инструкции поддерживать исключительно Верховного Правителя. Американцами, в частности Моррисом, он крайне недоволен.

23, в т о р н и к.

Прибыл утром Правитель.

В 2 часа я ему делал доклад о работе «общественности» в связи с созывом государственного земского совещания. Верховный Правитель сказал, что он не допустит обсуждения вопроса об изменении системы власти. Правитель вызвал Сукина и предложил ему в моем присутствии сделать доклад о Дальнем Востоке. Поведение Америки возмутительно. Она предъявила нам требования убрать Семенова, Калмыкова. Генерал Гревс задержал направленное нам оружие, за которое уже уплачено золотом. Чехи недовольны исключением Гайды[47]. Англия, Франция, Япония заявили Сукину, что они не имеют намерения поддерживать дальневосточное движение против правительства. Моррис заявляет то же о себе лично. Япония еще не ответила на американскую ноту. Во время доклада мне сообщили, что получена телеграмма от Розанова о попытке переворота, предупрежденного вводом наших войск. Вечером Совет Министров сделал характеристику всех уездных земств и высказался за дополнительное представительство от групп.

Вечером я был у Правителя с телеграммой с Востока. Была будто бы попытка переворота в ночь на 19 сентября, но расстроена вводом во Владивосток верных войск. В чем попытка, Розанов не сообщает.

У меня был приехавший из Германии (Берлин) поручик Черкес. Рассказывал о немцах и о русских в Берлине. Интересно.

Правитель сказал мне, что не надеется уладить инцидент с Ивановым-Риновым. Между (тем) Иванова-Ринова подогревают.

24.

Прибывший с Дона полковник Карамищев привез мне много материалов и письма от Федорова и от Павла Дмитриевича Долгорукова. Протокол торжественного заседания 5 июля по поводу признания верховного Правителя Федоров просил меня лично вручить адмиралу. Письмо Федорова содержит ответ на мое, где я указываю на необходимость признания.

Совет Правителя. Правитель изложил обстановку на фронте. Иванов-Ринов возвращается. «Рейд в тыл противника,— сказал правитель,— такое дело, которое нельзя требовать от обыкновенного военачальника».

25.

Вручил Правителю протокол заседания 5 июля.

Правитель сегодня едет в 1-ю армию.

27.

Письмо от Анатолия.

29.

Вчера и ночью несколько телеграмм от ген[ерала] Розанова. Межсоюзный военный совет предъявил ультиматум о выводе из Владивостока войск, введенных ген[ералом] Розановым. Срок 12 час. **29 с е н [т я б р я].**

Я предложил собрать Совет Министров. Верховный Правитель с фронта приказал Розанову ответить отказом, а Сукину выразить союзникам протест. Совет Министров единодушно высказался в том же смысле и послал ген[ералу] Розанову приветствие по поводу его действий. Вообще, это первый решительный тон по отношению ко всем союзникам.

30.

Получено от Розанова уведомление, что союзники отказались от ультиматума.

Вечером прибыл Правитель.

Октябрь

1.

Совет Правителя.

Первое заседание комиссии по законопроекту о государственном земском совещании. Участвуют 5 министров и 5 членов государственного экономического совещания. Обсуждение вполне деловое.

2—4.

Я выезжал на лошадях в Омский уезд. Собирал сходы крестьян и говорил им о намерениях Верховного Правителя, говорил в требовательном тоне.

Поразительное внимание и какое-то облегчение у них на душе. Сильной речью, за которой чувствуется власть, можно сейчас победить инертность и лукавство мужика. Но нужна работа власти, которую мужик должен видеть. Управлять уездом и губернией из города нельзя, (пусть) это зарубит на носу каждый администратор. А их у нас надо заставить ездить. Приехал, узнал о взятии Тобольска.

Безусловно подтверждается провал Национального Центра. В Москве расстреляны, видимо, Щепкин, Астров, Алферов и др.— всего 67 человек.

7.

Правитель выехал на пароходе в Тобольск, с ним Гинс и морской министр.

12.

На пароходе карпато-русов ген[ерал] Дитерихс сказал мне, что туркестанская армия большевиков готова нам сдаться, идут переговоры. Вечером у меня был ген[ерал] Дитерихс. На нашем фронте устойчиво. 1-я наступает.

Под моим председательством происходят заседания подкомиссии по разработке положения о выборах в государственное земское совещание. Было уже три заседания. Работа идет спокойно.

14.

Сегодня собирались члены Национального Центра: Волков, Третьяков, Бурышкин, Червен-Водали, Кириллов и я, т. е. все, сколько здесь в Сибири «националистов». Решили открыть отделение.

15.

Еще одно лишнее правительство в Берлине: Люц, Антонов, Демченко, Скоропадский, Бискупский и др.[48]

Деникин взял Орел. Теперь, можно сказать, дорога на Москву открыта.

Первый самозванец. В Кош-Агаче объявился «цесаревич Алексей». Это — почтово-телеграфный чиновник Пуцято[49], переписка о коем уже у меня. Он арестован контрразведкой и находится в Бийске. К месту, где он арестован, собираются толпы любопытных. Управляющий губернией телеграфирует, что в него уже верят.

У меня был В. И. Игнатьев, бывший член Архангельского правительства. Он пробрался севером, через Тобольск. Передал, что англичане перед уходом с севера оставили только два танка, остальные три уничтожили. Их поведение там считают возмутительным. Сам Игнатьев производит слабое впечатление.

17.

Доклад Верховному Правителю. Я сказал о намерении ехать в Алтайскую губернию. Правитель одобрил.

18.

Вечером Совет Министров под председательством Верховного Правителя. Вопрос — фон дер Гольц. Решено выяснить способ завязать нормальные сношения с Германией, исходя из намерения [Sic!], что война фактически кончилась.

20.

У меня был Третьяков. Говорил об обстановке политической и военной. В городе опять толки о смене председателя Совета Министров. Кандидатами считаются Третьяков и я.

21.

Доклад. Правитель просил меня ускорить поездку[50]. Доложил о турках.

22.

У меня был С. Упорно говорит о начавшемся в «общест. кругах» обсуждении вопроса о премьере. Меня находят нужным сохранить на посту министра вн[утренних] дел, так как совмещать оба поста считают невозможным. Я сказал, что меня не удовлетворит пост премьера и пошел бы я на него только по приказанию.

ПРИМЕЧАНИЯ

[31] Несколько членов Учредительного собрания красильниковцы расстреляли в Омске между 21—23 числами декабря 1918 г. без суда.

[32] В. Н. Пепеляев касается поражения одного из первых восстаний рабочих Омска в тылу Колчака. По неполным данным, было убито около 1000 человек, из них примерно 100 партийных работников. Многие были арестованы и посажены в тюрьму. (См. Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917—1919 гг.). Новосибирск, 1928. С. 198—199).

[33] Видимо, в комитет «Союза Возрождения».

[34] Принцевы острова — архипелаг в северо-восточной части Мраморного моря. Принадлежат Турции. Административно входит в район г. Стамбула. Президент Америки Т. В. Вильсон от имени Антанты обратился ко всем правительствам России с предложением о перемирии и созыве Конференции на основе сохранения занимаемых к этому времени территорий.

Колчак, выступая на объединенном заседании городской Думы и земской управы в Екатеринбурге, заявил: «Еще недавно вся свободная Россия была встревожена, когда получилось предложение держав Согласия всем правительственным организациям, обладавшими вооруженными силами, послать представителей на Принцевы острова для соглашения с большевиками. Мы сочли ниже своего достоинства даже отвечать на эти предложения. Этот вопрос может считаться поконченным. Сговора с большевиками на Принцевых островах не будет, и те западноевропейские государственные деятели, которые еще недавно поддерживали эти планы, ныне, прозрев, клеймят большевиков названием убийц-террористов, как это сделал Ллойд-Джордж в палате депутатов». (С. Ауслендер. Верховный Правитель Колчак. 1919). Встреча не состоялась из-за отказа контрреволюционных сил России.

[35] Начальник японской военной миссии контрадмирал Танака.

[36] Газеты трубят о скором признании... Автор дневника говорит о предполагаемом признании союзниками правительства адмирала Колчака. Но официального признания Колчака так и не произошло.

[37] Нота Клемансо — документ, подписанный 20 мая 1919 года от имени глав правительств, входивших в так называемый «Совет четырех»,— В. Вильсоном, Ж. Клемансо, Д. Ллойд — Джорджем, К. Сайондзи с предложениями определенных условий к Колчаку: после взятия Москвы собрать «старое» Учредительное собрание, избрание городских и земских самоуправлений, признание независимости Польши, Финляндии и т. д. 27 мая нота, составленная личным секретарем Л. Джорджа Ф. Керром, была направлена во Владивосток французскому верховному комиссару графу Мартелю. В июне она дошла до адресата. Колчак, полностью зависимый от Антанты, вынужден был принять эти условия.

[38] Чехи в Иркутске что-то затевают... Пепеляев имеет в виду, очевидно, выступление солдат чехословацкого корпуса против приказа генерала Штефаника «О ликвидации выборных комитетов и запрещении созыва общевойского съезда». Восставшие заявили, что используют все для прекращения кровопролития. 10 июня 1919 г. часть делегатов съезда была арестована. Они были освобож-

дены (самочинно) 2 июля двумя ротами четвертого чехословацкого полка. К Иркутску были подтянуты войска. 24 июня съезд капитулировал. Еще раньше, в апреле, в Екатеринбурге, такой съезд принял обращение к чехословацкому правительству, в котором, между прочим, говорилось: «Мы боимся, чтобы история когда-нибудь не сказала, что мы своим присутствием здесь помогаем правительству, которое не отвечало нашим политическим убеждениям и шли против русской демократии». Эти события вошли в историю как «Иркутский бунт 1919 г.».

[39] Группа членов экономического совещания выдвигала следующие требования: «1. Борьба с большевизмом должна быть доведена до его поражения — никакие соглашения с Советской властью недопустимы и невозможны; 2. Созыв Учредительного народного собрания на основе всеобщего избирательного права, по освобождении России, обязателен; 3. Строгое проведение в жизнь начал законности и правопорядка; 4. Невмешательство военной власти в дела гражданского управления в местностях, не объявленных на военном и осадном положении; 5. Создание солидарного Совета Министров на определенной демократической программе; 6. Срочное преобразование государственного экономического совещания в государственное совещание — законосовещательный орган по всем вопросам законодательного и государственного управления — с тем, чтобы все законопроекты, принятые Советом Министров, представлялись в госсовещание, как в высшую законосовещательную инстанцию, и отсюда поступали на утверждение верховной власти. Председательство в государственном совещании должно быть возложено на лицо, не входящее в состав Совета Министров. Государственному совещанию предоставить права: а) законодательной инициативы; б) рассмотрения бюджета; в) контроля над деятельностью ведомств; г) запроса руководителям ведомств; д) непосредственного представления своих постановлений верховной власти.

16 сентября 1919 г. Колчак подписал Грамоту об образовании государственного земского совещания, но не упомянул в ней о каком-либо преобразовании его в государственное совещание.

[40] Колчак часто выезжал на фронт. После чего его войска несли поражения. По этому поводу в Омске многие говорили: «Поехал сдавать Петропавловск», и т. п.

[41] Вологодский выезжал на курорт Боровое. Его официальным заместителем в Совете Министров оставался Тельберг.

[42] В состав политического совещания входили: князь Львов Г. Е., Маклаков В. А. (бывший член Государственной Думы, кадет), Сазонов С. Д. (бывший министр иностранных дел России), Чайковский Н. В. (глава северного (Архангельского) правительства).

[43] 7 июля 1919 г. в последнем заседании сессии Иркутского губернского земского собрания, в состав которого входило много представителей право-социалистических партий, группой гласных было оглашено внеочередное заявление о текущем политическом моменте. Положение признавалось обостренным настолько, что обходить его молчанием земское собрание не могло. Большинством голосов была принята резолюция с отрицательным отношением к Омскому перевороту 18 ноября 1918 года, следствием которого, по мнению земцев, была изолированность Омского правительства от населения. Указывалось, что принятая правительством тактика ведет к еще большей изоляции от крестьянских масс. Все это вместе взятое снижает авторитет правительства и в международном плане. Выходом из создавшегося положения, как считали земцы, мог бы служить лишь созыв Учредительного собрания. В виде добавления в резолюции говорилось: «Кроме того, губернское земское собрание считает необходимым созыв земского собора, как представительного органа на территории, освобожденной от большевиков, и как переходной ступени к Учредительному собранию».

Такая резолюция, безусловно, не могла радовать Колчака — ярого сторонника единоличной власти на период гражданской войны.

[44] Бандидо-Ламбо-лама — настоятель буддийского монастыря, по имени Джамцо, при-

ехал в Омск за утверждением его в должности бандидо-хамбо-ламы (главы) Урянхайского ламского духовенства. Указ Колчака от 13 июня 1919 г. об утверждении его в этом звании напечатан в № 190 «Правительственного вестника». Обычно назначение главы Урянхайского духовенства шло помимо русского правительства.

[45] В результате организованного англичанами переворота было образовано на основе коалиции так называемое Лианозовское правительство. В состав его вошли крупный бакинский нефтепромышленник С. Г. Лианозов, адвокат М. С. Моргулис, Иванов, К. А. Александров, адмирал Пилкин и другие. Юденич остался в качестве военного министра. Для сформирования кабинета и для подписания акта о признании полной независимости Эстонии, английская военная миссия ультимативно назначила срок 40 минут, в противном случае грозила прекращением военной помощи. Началась деятельная подготовка нового наступления на Петроград; успех его зависел от помощи Финляндии и Эстонии, которые требовали предварительного подтверждения от Колчака признания их независимости. Но в Омске не хотели об этом и слышать. Эти настроения нашли отражения в дневнике В. Н. Пепеляева.

[46] Сибирский союз эсеров — отколовшаяся в 1919 году от эсеровский партии группа во главе с Михайловым Павлом Яковлевичем, бывшим членом Западно-Сибирского комиссариата, активным участником свержения Советской власти в Сибири в 1918 году. Летом 1919 года союз выпустил декларацию, в которой обещал оказывать поддержку комитету членов Учредительного собрания в деле свержения колчаковской власти и немедленного созыва сибирского Учредительного собрания.

Сибирский комитет членов Учредительного собрания состоял из так называемых «эсеров-активистов», искавших исхода в немедленном созыве сибирского Учредительного собрания, а до его созыва в создании временного Сибирского правительства, ответственного перед сибирским Комучем.

[47] Колчак, узнав о заговоре, активным участником которого во Владивостоке был генерал Гайда, лишил его чина генерал-лейтенанта. Последний считал это решение противозаконным.

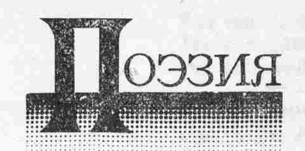
[48] Автор дневника пишет о «Западно-русском правительстве», сформированном в Берлине группой монархистов (царских сановников и генералов) на случай занятия Прибалтийских губерний частями русского белогвардейца, полковника Бермондт-Авалова и германского генерала Р. фон дер Гольца. В состав этого «правительства» входили генерал Бискупский (премьер), члены кабинета Дурново (сын известного царского министра), Семмер, Поппе, Берг, Дерюгин и Закин. «Правительство» немедленно после своего возникновения стало вырабатывать соглашение с группой германских милитаристов, пытавшейся представительствовать от Германии. В проекте соглашения значились такие пункты: 1) свобода действий России по отношению к Турции и Персии; 2) независимость Финляндии; 3) выгодный для Германии торговый заем для формирования армий в 220 тысяч человек; 4) автономия балтийских провинций под русским протекторатом и др. В газете «Матин» назван был другой состав правительства: премьер — Люц, члены кабинета: Демченко, Антонов (б. член Государственной Думы), генерал Бискупский и гетман Украины Скоропадский.

[49] Кадетская газета «Свободный край» сообщила об этом эпизоде интересные бытовые подробности: «В сентябре из Кош-Агача (пограничная русско-монгольская таможня) была принята в Бийске телеграмма для направления в Омск на имя Верховного правителя такого приблизительно содержания: «Не желая погибнуть от руки большевиков, прошу дать вооруженную охрану. Подписано: цесаревич Алексей». Начальник почтового-телеграфной конторы в верноподданническом трепете побежал к себе на квартиру, вытащил там какие-то свои старые регалии; надел парадный мундир, вернулся к аппарату и отстукал «цесаревичу» следующее: «Ваше императорское высочество, я был всегда верноподданным его императорского величества, и вас прошу не оставить меня на будущее своими милостями». Вследствие телеграммы за «цесаревичем» из Бийска был отправлен

воинский отряд. Несмотря на явную абсурдность такой телеграммы и наружного несходства авантюриста, парня лет 18—19, если не считать за таковое надетый на нем матросский костюм, самозванец каким-то образом сумел ввести в заблуждение местные власти и общество, произведя сенсацию в городе. Для него были приготовлены два лучших номера в гостинице (совсем, как Хлестакову), а местным милиционером Астевым устроен помпезный обед в честь высокого гостя» (Свободный край, 1919, 23 октября.)

[50] Речь идет о поездке В. Н. Пепеляева в Иркутск с целью найти сближение с земскими оппозиционными кругами. Неудачи на фронте и в партизанском тылу заставили Колчака задуматься о многом.

Публикация подготовлена
В. М. Серебренниковым
и П. К. Конкиным





Елена Крюкова

КРАСНЫЕ КАЗАРМЫ

В ночи, из-за вьюжного, в искрах, рядна,
За лунной холстиной метели
Два вшитых погонами строгих окна
Проглянули — и запотели.

То были казармы. Их красный кирпич,
Как знамя, дрожал и лучился.
Здесь каждый войну мог в ученьях постичь
И целых два года учился.

Солдат брили наголо, будто больных,
Лишь детством болевших единым...
Пол плыл под ногой на тревогах ночных,
Качался огромною льдиной!

Теперь вам приказано засветло спать
И есть подгорелую кашу.
Теперь вам назначено нас защищать
И землю холодную нашу.

Вот так же и сына однажды возьмут
На звонкое ратное дело.
В каптерке ему гимнастерку дадут —
Скрыть наглухо юное тело.

Обучат винтовкой тяжелой владеть,
Железным играть автоматом —
И, может, от горя мгновенно седеть,
И всаживать в землю лопату...

Я птицу рыданья в руке удержу,
Чтоб только улыбка застыла.
Дорогою зимней — по ней уношу
Младенца — в глубь памяти-тыла.

По ней уношу и кормленье, и боль
Разбившего локти пострела,
В холщовом мешочке каленую соль,
Которою нос его грела;

И лед стадионов, разрезанный им
На жестких, как рельсы, «хоккейках»;
И первый, отравной затяжкою, дым,
И первой зарплаты копейки...

Так будет. И встанешь ты передо мной.
И я обниму тебя крепко.
И страшно, и горько запахнет войной
Мальчишечья мирная кепка.

«Да что же ты, мама! Я ж не на войну», —
Щенком в меня ткнется вслепую...
Пустыми ладонями шарф подоткну
И весело так поцелую.

Ночные снега про свое говорят, —
Что смертны и звезды, и страны.
Оранжево окна казармы горят —
В морозно открытые раны.

И я подбегаю — их забинтовать!
Закрыть своим телом, рыдая!
...И плачу над люлькой, счастливая мать,
Веселая мать молодая.

ДАНСИНГ

Как тигр, ревущая дискотека.
Охота под звездами — на человека.
Толпа с одною
Звериной кожей —
Как тьмой ночною,

Как общим воем
Мы все похожи!

А этот танец,
Идущий толпами, —
Как общий ранец,
Куда натолканы

И свист, и драки,
За водкой — давка,
И вой собаки,
Когда — удавка,
Плацкартный поезд —
Плач в одеяле, —
Девичий пояс,
Что грубо сняли,
Сережка в ухе —
Да мат привычный,
Духи́ — и ду́хи
Во снах больничных,
Где жар и ветошь,
Где мылом пахнет,
Где человеком
Вдруг лампа ахнет;
Портрет из рамы:
Свекровь живая!.. —
Нож в ребра прямо
В дверях трамвая,
Такие шпалы,
Такие будни,
Так жизни мало,
Что это — трудно...

И вот фарцуем
И мажем веки.
И вот танцуем
На дискотеке!

И спертый воздух.
И нету страха!

...А в небе — звездный
Топор да плаха.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Все, что было, пусть исчезнет, как слепящий снеговей.
Я стою в конце дороги среди Родины моей.
Путь закончен мой российский. Радость дивно велика —
Та, что рот мне зажимает комом снятого платка.

Отзвенят вагонов звоны. Отгорчит грузинский чай.
На разъездах енисейских отворчит собачий лай.
Всю на станциях заштатных бабы снедь распродадут...
А в вареную картошку черемшу они кладут!..

Но разымется однажды мое русское кольцо,
И, как матери-старухе, погляжу Москве в лицо.
Посреди большого града встану прямо, как стрела.
Помнишь, я щенком вокзальным хлеб из рук твоих брала?!..

А на площади широкой, как товары на лотках, —
Лица в кепках пропыленных, лица в расписных платках,
Лица, словно снег холодный, в жизнь летящие мою, —
Поименно принародно вас, любимых, узнаю!

Я стою на Комсомольской, весь пройдя в короткий срок
Путь, которым эшелоны шли на запад и восток.
И, от счастья прозревая, от рыданья став слепой,
Я лицом одним сливаюсь с беспредельною толпой.

ВЕРА

Ох, вера да безверие, — об том и говорят:
Что Сталин, что там Берия, — давно истлел наряд!..
Теперь иной насущный хлеб покою не дает:
Как без крестов да куполов нам двигаться вперед?..
Всезнайка, шибко знающий про церковь да обряд, —
Витийствует, все истины укладывает в ряд:

Вот так-то было в древности — так пили, ели сяк,
Так толковали заповедь — не наперекосяк,
Не заповедь, а проповедь!.. не свет, а символ,— ах!..

Ругательство расейское застыло на губах.
Вам, знатоки истории, — невеждою кричу:
О Пселле пусть не ведаю — затеплю я свечу!
О «филиокве» знаю я из куцых, серых книг,—
Зато в воротах кладбища поймет меня старик!
Заплачем о любимых мы — и я его пойму,
И стеганку табачную я крепко обниму,
И не о знаках-символах мы будем толковать
С тобой, небритый мой старик, с тобой, седая мать!

Ведь веру от неверия я тем и отличу,
Когда открою двери я навстречу палачу:
Ведь он-то — сам себя казнил!.. Ему — тяжельше всех!..—
И тихо на себя возьму его чугунный грех.
А вера ведь — не знание (хоть знанью и хвала!),
А вера — задыхание, терпение и мгла,
Когда вокруг все умерли, и только Бог
Над каждым неоплаканным, и жив, и одинок.

Елена Николаевна Крюкова родилась в 1956 году в г. Куйбышеве. В 1981 году закончила Московскую консерваторию по классу фортепьяно и органа. Работала в Иркутске концертмейстером и органисткой. Закончила Литературный институт: семинар А. В. Жигулина. Автор книги стихов «Колокол».



ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)*

1729 г. Приезжал в Иркутск из Якутска свиты командора Беринга, флота поручик Алексей Чириков за получением денег для экспедиции.

Мая 8 дня, главный престол при Владимирской деревянной церкви, Владимирской Богоматери образу, освящен преосвященным Иннокентием святым. Сбором денег для построения этого храма занимался неизвестный человек — Данилушка, которого жители Иркутска называли «блаженным», а потому и самую церковь прозвали «Владимирскою-Данилушковою».

Выстроен в Иркутске особый дом для присутствования сборщиков податей.

Комиссары Дмитрий Молаков и Иван Ножнов возвратились из Китая с вымененною казною и вскоре отправились водою по реке Ангаре в Россию.

21 марта р. Ангара вскрылась от льда, а 28 декабря покрылась.

1730 г. Иван Глазунов уехал в Селенгинск для встречи и принятия китайских послов, едущих в С.-Петербург или Москву. По другим сказаниям, эти послы следовали к калмыцкому Аюк-Хану**.

Р. Ангара вскрылась от льда 13 марта, а покрылась льдом 17 декабря.

1731 г. В феврале приехал из Тобольска капитан Степан Угрюмов с строгим предписанием забрать все таможенные дела, приходно-расходные книги, счетные выписки и проч. Взяв с собою таможенных целовальников и приказных чиновников, он отправился с ними по р. Ангаре в Тобольск.

Воевода Измайлов уехал в Москву, а вместо него по указу правительствующего сената поступил полковник Иван Бухгольц.

Иркутск получил наименование провинциального города, причем воеводы заменены вице-губернаторами. Первый назначенный вице-губернатором в Иркутск был статский советник Иван Иванович Бибиков, не бывший, впрочем, в Иркутске. На место его поступил из Тобольска Иван Балдин, но этот возвращен из Тары и заменен статским советником Иваном Жолобовым.

В сентябре проехали через Иркутск китайские послы, едущие к российскому Двору для поздравления Императрицы Анны с восшествием на престол. Их препровождал драгунский капитан Елисей Давыдов.

---

* Продолжение. Начало см. Сибирь, № 4—6, 1989.

** Из Китая было отправлено одновременно два посольства: одно к российскому Двору, а другое — к Аюк-Хану. Глазунов, командированный для встречи послов и сопровождения их до Москвы, получил распоряжение, между прочим, «удержать ему идущих с оным же посольством к калмыцким владельцам посланцев, стараясь о причине их посылки разведать и внушить им, что понеже калмыки российские подданные, то им без ведома своего Государя от посторонних держав принимать послов не можно». (Хронол, ист. Сибири И. Щеглова).

В октябре приехал в Иркутск вице-губернатор Иван Жолобов и вскоре вступил в отправление своей должности. Жолобов (так записано в летописи) «был в канцелярских делах заобычен, в судных рассудителен, в собирании казенных сборов рачителен, старанием своим достроил Богоявленский собор; среднего состояния людям никаких обид и налогов не чинил, а богатым делал разныя «прицепки» и брал с них взятки. К несчастным преступникам, содержащимся в остроге, был милостив и дела о них решал скоро».

Ноября 27 дня, преосвященный Иннокентий, первый епископ Иркутский и Нерчинский, преставился в Иркутском Вознесенском монастыре и торжественно похоронен, с подобающей честию, под алтарем Тихвинской церкви.

По прославлении святых мощей святителя Иннокентия, память его совершается 26 ноября в силу Высочайшего указа от 28 ноября 1804 года, в котором, между прочим, в 1 пункте сказано: «Мощи святителя Иннокентия поставить в церкви Вознесенского монастыря, с установлением празднования ему ноября 26 числа, на память преставления сего святителя». Следовательно, Св. Иннокентий окончил свое житие 27 ноября.

Великоустюжским купцом Яковом Бобровским с товарищами заведена Тельминская суконная фабрика в 60 верст. от Иркутска по Московскому тракту.

Примеч. 1773 года эту фабрику купили иркутские купцы Алексей и Михайло Сибиряковы, а в 1793 г. она взята в казну; с 1793 по 1802 г. управлял фабрикою и устроил ее кригс-цалмейстер, генерал-майор Новицкий, человек умный, начитанный и тонкий.

Р. Ангара вскрылась 31 марта, а покрылась 31 декабря.

1732 г. Китайские послы возвратились из Евр. России, а за Байкал уехали зимою.

Р. Ангара вскрылась от льда 14 апреля.

Полковник Бухгольц определен на службу в Селенгинск, куда и уехал.

В октябре месяце была в Иркутске сильная буря, которою опрокинуло заборы, срывало с домов крыши и повредило крепостныя башни.

В ноябре месяце зашел в город Иркутск небывалый гость, а именно: Заморскими воротами вошел медведь, прошел подле загороди палисадной и вышел в Мельничныя ворота, где был въезд на мельницу Глазуниху, на р. Ушаковке. Место, где была мельница Глазунова, и по сие время видно по остаткам в разных местах крепкой плотины. Медведь этот несколько лет в ближайшем лесе питался свиньями и другим скотом, принадлежащим городским жителям, но жители боялись его преследовать, хотя и терпели ущерб в скоте, потому что считали его за «оборотня». Это происшествие считалось неблагоприятным предзнаменованием для вице-губернатора Жолобова, означающим, что Жолобов не кончит добром своего управления (и действительно, он впоследствии за дела свои заплатил головою). Наконец однако нашлись охотники воспользоваться ценною шкурою медведя и его жиром, убили его и продали выгодно; жир медвежий продан бурятам, которые и по сие время величайшие охотники до этого лакомого кушанья.

Сего года, ноября 25 дня, префект Московского Заиконоспасского училища Иннокентий хиротонисан (в Москве) во епископа Иркутского.

1733 г. Января 6 прибыл в Иркутск на смену Жолобова новый вице-губернатор, статский советник Сытин. Жолобов был в то время за Байкалом; жена его должна была очистить казенный дом для нового начальника и вывезла в свою квартиру всю мебель, не оставив ни одного ни стола ни стула, так что Сытин принужден был на первый ночлег расположиться на полу ужинать и спать. Скоро прибыл и Жолобов и при первом свидании наделал Сытину тьму неприятностей, так что Сытин принужден был приказать Жолобову выйти вон. Сытин, бывший и до того нездоровым, после этих неприятностей заболел еще более; он не вставал уже с постели и на 2 февраля скончался.

После похорон Сытина с приписью подьячий Татаринов распорядился послать нарочного в Селенгинск к коменданту Бухгольцу, чтобы он благоволил прибыть в Иркутск для принятия должности начальника в Иркутске; до приезда нового, кто определен будет; но Бухгольц не поехал, зная характер Жолобо-

ва, и отозвался неимением на то указа от Сибирского губернатора.

В апреле месяце сего года, вследствие происков Жолобова, ему велено занять снова вице-губернаторскую должность в Иркутске.

Обрадовавшись этой новой милости начальства, он воспользовался случаем, чтобы рассчитаться со своими недоброжелателями. К этому он поджигаем был и злобным бургомистром Мясниковым, который хотел отмстить в то же время и своим врагам. Жолобов отложил всякую умеренность и начал с жестокостью преследовать своих неприятелей. При появлении Жолобова в присутствии вице-губернаторской канцелярии прежде других испытали его мщение с приписью подьячий Татаринов и дворянин Иван Литвинцев, последний за раздачу, во время бытности его в Нерчинске правителем, денег промышленникам соболей.

Жолобов приказал разуть его, без сапог привести пред канцелярию и бить палками на правеже по два дня сряду. Когда же Жолобов прибыл на третий день в канцелярию, встал на рундук крыльца и готовился снова начать свои истязания над Литвинцевым, то этот, последний, подойдя поспешно к Жолобову, стал уличать его в воровстве казенных денег и закричал: «Слово и дело!». Жолобов, встреченный неожиданно такими дерзкими и поносными для его чести словами, совершенно пришел в бешенство, сбросил с себя епанчу, кинулся на Литвинцева с тростью, проломал ему во многих местах голову и потом приказал отвести в застенок и предать пыткам.

В то же время он арестовал и заковал в цепи полковника Лисовского и в таком виде отослал его в Тобольск.

После того он приискивал случаи мстить тем купцам в Иркутске, которые не хотели подписать прошение об оставлении его, Жолобова, в прежней должности; но жестокостям его положен предел чрез приезд бригадира Сухарева, который в ноябре с. года сменил и арестовал Жолобова.

В половине 1736 г. бывшему Иркутскому вице-губернатору Жолобову за тяжкие клеветы на тобольских начальников, за разные противозаконные поступки и похищение казенного достояния до 35.000 р. отсечена голова в Петербурге.

Спустя пятнадцать лет после казни, совершенной над Сибирским губернатором, кн. Гагариным, которому тоже отсечена голова в Петербурге 18 марта 1721 года (по другим сказаниям он повешен того же года 18 июля) См. Ист. об. Сибири Словцова, кн. 1, 353 и 4 и в примечании.

6 января р. Ангара покрылась льдом, а вскрылась 28 марта.

20 ч. проехал чрез Иркутск инспектор сухопутных войск, полковник Гаврило Бардачев для осмотра солдатских и казачьих полков. Для сего же он ездил в Селенгинск, как главной стоянке воинских команд.

В апреле проехал в Китай курьером капитан Степан Петров.

Исправлены вновь городские крепостные стены от канцелярии до средней башни.

В апреле же месяце проехал из Тобольска в Камчатку майор Василий Федорович Мерлин с одним офицером и капральством солдат. Ему поручено было произвести строгое следствие на полуострове о последнем камчатском бунте, бывшем в 1731 году; к нему присоединен находящийся уже в Камчатке драгунский майор Дмитрий Павлуцкий. По исследовании ими дела, которое они представили на решение высшего начальства, и в ожидании решения они занимались приведением в порядок расстроенных дел и самого управления; отстроили многие тамошние острожки вновь и возобновили разоренный Нижнекамчатск, где прожили по август 1739 года.

По получении конфирмации за противозаконные поступки как изменников из числа русских, так и камчадалов, правосудие постановило: комиссара Ивана Новгородова, пятидесятника Андрея Штинникова (сего за грабеж и убийство японцев) и Михаила Сапожникова предать смертной казни; камчадалов, двух тойонов, Федьку Харчина и Голгоч и есаула Чегечь с главными их товарищами повесить; также в каждом остроге, где бунтовали камчадалы и не повиновались русской власти, повесить по одному, а менее виновных, смотря по вине преступления, наказать телесно, а с других взять штраф. Это и было исполнено.

В октябре месяце приехал в Иркутск на епархию Преосвященный Иннокентий 2-й Нерунович.

Прибыл в Иркутск свиты командора Беринга капитан Мартын Шпанберг, чтобы заготовить припасы и материалы для строения судов в Камчатке, на которых должна была отправиться вторая экспедиция, снаряжаемая в Восточный океан с целью отыскать берега Америки. Свиту командора Ивана Ивановича Беринга составляли следующие лица: флота капитаны Чириков и Шпанберг, лейтенанты Ласиниус, Вальтон, Лаптев, Евдогуров, Ваксель и Прончищев, академик Делиль де ля Кройр, профессоры истории Гмелин и Миллер, адъюнкт Штеллер, студент академии Крашенников, геодезисты Красильников и Попов, разные морские и горные чины, пробирный мастер, механик и другие ученые. Их приехало в Охотск до 200 человек. Один из наших историков замечает: «...что такой огромной и ученой экспедиции в Сибири еще не было и что она оставила в стране следы сильного негодования вследствие тяжелой повинности, которой подвергались тогда еще малочисленные по Сибирскому тракту жители, которые должны были отправлять многие, как то: а) доставку чинов и их людей, которым назначалось большое число лошадей и проводников; б) перевозку корабельных снарядов и артиллерийских орудий; в) доставку нескольких тысяч пудов провианта и других припасов». Другой замечает: «...что во избавление хлопот по р. Лене и от Якутска до Охотска следовало бы соорудить Балтийский флот и из Кронштадта плыть к делу». Третий описывает Беринга так: «Он был родом датчанин; когда он прибыл в С.-Петербург с отчетом о первой экспедиции, действию ея адмиралтейств-коллегия тогда не много верила, ибо Беринг недостаточно решил вопрос, что сходится ли Азия с Америкой. Для чего послан он был вторично для того же дела, но ему уже дан в помощники равный товарищ, капитан Алексей Ильич Чириков». В инструкции, высочайше утвержденной, повелено было в плавании к берегам Америки чинить все с общего согласия. Беринг в управлении экспедиции был крайне несчастлив. Он был во враждебных отношениях с сибирскими властями, на него жаловались академики, жаловались подчиненные офицеры, его упрекали в самоуправстве, лихоимстве и в потачке лихоимству, в нерадении и неумении; клеветали на жену его Анну Матвеевну и настаивали, чтоб на границе Сибири (в обратный путь) ее осмотрели хорошенько, потому что она будто везет много драгоценных мехов. Товарищи и подчиненные Беринга перессорились между собою: Чириков с Шпанбергом, Шпанберг с Вальтоном, Ласиниус с Стерлеговым — и, наконец, Беринг поссорился с охотским начальником Григорьем Григорьевичем Скорняковым-Писаревым. Беринг не возвратился в Россию, он скончался на неизвестном острове 8 декабря 1741 года.

Шпанберг, по заготовлении всего нужного, отправился из Иркутска на ленские пристани чрез Илимск.

Проехали чрез Иркутск в Китай и далее посланцы калмыцкого владельца, отправленные в Тибет к далай-ламе.

Возвратился из Китая российский агент Лоренц Ланг и комиссар Молоков с караванною казною. Они отправились из Иркутска водою по р. Ангаре.

1734 г. 4 января р. Ангара покрылась льдом, а 26 марта вскрылась.

4 апреля приехал в Иркутск вновь определенный вице-губернатор полковник Андрей Плещеев, пробывший на службе по 1737 г. Плещеев оставил в Иркутске по себе недобрую память: «...он был в канцелярских делах несведущ, вспыльчив и корыстолюбив, промышленных и торговых людей за недачу подарков драл плетьми и кнутом и притеснял приказных служителей; приверженцев же своих любил постоянно угощать и поить разными винами допьяна».

В июне прибыл в Иркутск командиром Иван Беринг и по заготовлении всего нужного для камчатской экспедиции отправился в Якутск.

В октябре приехал из С.-Петербурга лейбгвардии поручик Пущин. Он взял с собою Сухарева, Жолобова, дворянина Литвинцева, канцеляриста Мирона Судницкого, Гаврила Затопляева, Тимофея Кандакова, посадского Трифона Бречалова и друг., с которыми и

отправился в Петербург. Мы сказали выше, что Жолобов заплатил за дела своей головою, а прочие прикосновенные к делам Жолобова признаны все невинными.

В октябре прибыл в Иркутск свиты Беринга профессор астрономии Делиль де ля Кройер. Он составил в Иркутске таблицу восхождения и захождения солнца. Для тех же наблюдений он ездил в Селенгинск и Троицкосавск.

В Китай отправился караван с товарами под ведением комиссара Ерофея Фирсова с целовальниками. С этим караваном должны были отправиться в Китай на смену архимандрита Антония Платковского, выехавшего оттуда по распоряжению начальства, миссионеры, прибывшие из Москвы, Чудова монастыря иеромонахи: Лаврентий Уваров и Антоний Львовский, иеродиакон Виктор с двумя церковниками; но они не были пропущены в Китай, потому что не имели от иностранной коллегии рекомендательного листа. Они уехали в Китай в следующем году с архимандритом Иларионом Трусовым.

Декабря 24-го р. Ангара покрылась льдом.

1735 г. Апреля 11-го р. Ангара вскрылась от льда.

Приехали в Иркутск профессора Герард Фридрих Миллер, сочинитель «Сибирской истории», и Иоанн Георг Гмелин — ботаник. Они ездили за Байкал, в Нерчинск, Якутск и другия места.

Строитель Иркутского Вознесенского монастыря иеромонах Митрофан для сооружения в сем монастыре каменной соборной церкви Вознесения Господня получил от преосвященного Иннокентия 2-го епископа Иркутского шнуровую запечатанную книгу, за собственным подписом архиерея, для сбора денег. Этот Митрофан в том же году был по делам епархиальным в Петербурге и там у св. Синода исходатайствовал указ, которым разрешалось ему чинить сбор денег в обеих столицах и по тракту до Иркутска. Собранные им деньги составили основной капитал на построение Вознесенского каменного храма, заложенного в 1749 году.

Приезжал из Тобольска прапорщик Иван Иевлев для понуждения здешнего начальства в составлении счетных выписок, по делам приходно-расходным, и отсылке их по принадлежности.

Вице-губернатор Плещеев, посредством торга с китайцами, приобрел в пользу казны 15 000 лан серебра, вероятно помимо караванной торговли.

1736 г. Сибирская губерния разделена на две части — Тобольскую и Иркутскую — и велено быть под ведением Сибирского приказа, и чтобы в Иркутске был действительный вице-губернатор, которому дозволено сноситься с Тобольским «промемориями», как равным местом.

Апреля 13 преосвященный Иннокентий, епископ Иркутский II разрешил исправить внутри деревянную церковь Прокопия и Иоанна, устюжских чудотворцев, а 15 сентября дозволил построить внизу этого храма престол Сретения Господня.

Декабря 2-го р. Ангара покрылась льдом.

1737 г. Марта 28-го р. Ангара вскрылась от льда.

Сего же марта месяца прибыл в Иркутск новый вице-губернатор, статский советник Алексей Бибиков, а Плещеев уехал в Тобольск. Проехал в Кухту для покупки у китайцев ревеня комиссар Симон Ильич Свиньин.

Приезжал в Иркутск свиты командора Беринга, капитан флота Гаврило Толбухин для понуждения здешнего начальства к отправлению в камчатскую экспедицию провианта и других припасов. Толбухин уехал из Иркутска в Москву 1740 года.

1738 г. Река Ангара покрылась льдом 8 января, а вскрылась 7 апреля.

Сего года построен в Иркутске для плавания по Байкалу первый казенный бот.

Начало постройки деревянной церкви в Иркутске во имя священномученика Харлампия. Строителем ее был посадский Емельян Югов, строивший ее на собственный свой счет. Нижний этаж ее освящен во имя того святого 1739 года, января 24 дня, преосвященным Иннокентием 2-м. Верхний этаж этого храма строили иркутские казаки, во имя архистратига Михаила, который освящен 1746 года, июня 18 дня. Церковь эта существовала до 1777 года, до закладки новой каменной.

Профессор Фридрих Миллер, по собира-

нии им исторических материалов из Сибирских архивов для составления Сибирской истории, сего года уехал в Россию водою по р. Ангаре. История Сибири, Миллера, напечатана 1750 года.

Приезжал в Иркутск ботаник, адъюнкт академии Георг Васильевич Штеллер за сбором трав и достопримечательных вещей.

Сего же года приезжал в Иркутск Енисейского монастыря архимандрит Дмитрий для отыскания монастырских крестьян, которые были отпущены для работ по городам и своевременно не возвратились.

Проехали чрез Иркутск посланцы с подарками от Калмыцкого хана в Тибет к далай-ламе, в числе семидесяти человек.

Прибыл в Иркутск лейб-гвардии прапорщик Петр Коновницын для понуждения к поспешному сбору рекрут и отправке их в Тобольск.

Декабря 28-го р. Ангара покрылась льдом.

1739 г., 21 января, как сказано выше, освящена Харлампиевская церковь.

6 апреля р. Ангара вскрылась от льда.

31 декабря р. Ангара покрылась льдом, и в этом году преставился единственный по сие время случай, что Ангара покрылась льдом до самого Байкала, потому что обыкновенно от истока Ангары из Байкала остается на ней пространство, не покрываемое льдом, от 30 до 40 верст вследствие крутого падения и быстроты течения реки.

Проехал чрез Иркутск посланный из Москвы в Китайский трибунал с бумагами майор Михайло Шокуров.

1740 г., 31 марта р. Ангара вскрылась от льда.

26 июня прибыл в Иркутск вместо Бибикова вновь определенный вице-губернатор, статский советник Ланг, управляющий Иркутскою провинциею до 1752 года. Сначала Ланг усердно занимался делами управления, был снисходителен и добр ко всякому искавшему у него покровительства и защиты; но потом, вверившись некоторым из своих подчиненных служащих, особенно секретарю Березовскому, предался бедствию, вскоре открылись разные беспорядки в делах, некоторые из жителей города были наказаны телесно и сосланы в другие места; бедные терпели притеснения оттого, что нечем было им откупиться, а богатые посредством подарков всегда были правы и пользовались милостью начальства; умножились воровство и грабежи, особенно кража скота бурятами, а сыску не было; хотя воров неоднократно ловили, но виновных не оказывалось; сборы казенные были запускаемы; оброчныя статьи отдавались дешевыми ценами, а подряды высокими. Таково было правление Ланга.

Прибыл в Иркутск курьер, капитан князь Алексей Козловский с радостным известием о заключении с Турциею мира.

Примечание. Таковой же радостный вестник о замирении с От. Портою прибыл в Тобольск гвардии капитан Рахманов. Его встретили за городом конные отряды и множество народа. Он въехал в кедровою ветвию в руке. Знаменского монастыря духовенство приветствовало его хлебом-солью; он направился в Софийский собор, где отправлено было благодарственное молебствие. Эта радость сопровождалась разными празднествами. Иркутская летопись умалчивает о торжественной встрече князя Козловского.

Приехал в Селенгинск для управления Якутским полком бригадир Варфоломей Валентинович Якобий, в должность коменданта. Он был отец известного Сибирского генерал-губернатора, генерала от инфантерии Ивана Варфоломеевича Якобия, открывшего Иркутское наместничество 1783 года, декабря 27 дня. Проехал в Иркутск караванный директор Ерофей Фирсов, принял казенную рухлядь, с которою отправился на судах чрез Байкал, а потом уехал в Китай.

В сентябре возвратился из Китая майор Шокуров со студентом миссии Россохиным.

1741 г. Река Ангара покрылась льдом 12 января, а вскрылась 21 марта.

Прибыли в Иркутск несчастные жертвы Бирона, порознь отправленные в ссылку дети Артемия Волынского: дочь Анна, постриженная в здешнем Знаменском девичьем монастыре в монахини, и сын Петр, в следующем году отправленный в Селенгинск.

Прибыл в Иркутск адъюнкт Иоганн Эбергард Фишер для разбора исторических актов в здешних архивах, из которых делал выписки для составляемой им истории Сибири.

Для сего же он ездил в Нерчинск и Якутск. История его напечатана 1774 года, а доведена до 1662 г. В декабре прибыл в Иркутск флота поручик Иов Писарев для отправления в Камчатскую экспедицию провианта и других припасов.

Тогда же прибыл в Иркутск подпоручик Игнатий Уваров, в присутствии которого присягали все сословия города, кроме крестьян. В летописи нашей не записано, кому приносилась эта верноподданническая присяга, но должно полагать, что она была Императрице Елисавете Петровне*.

1742 г. Января 6-го река Ангара покрылась льдом, а 17 марта вскрылась.

В апреле получен указ о возвращении детей Волынского, которые вскоре и отправлены в Россию.

В мае было сильное землетрясение в Иркутске и по всему Забайкалью. В Иркутске повредило Спасскую церковь с соборной колокольни упал шатер, а с церкви крест; во многих домах разрушились печи и трубы. Это одно из самых страшных землетрясений, бывших по сие время в Иркутске.

Преосвященный Иннокентий 2-й, епископ Иркутский, уехал в Якутский край для обозрения своей епархии; откуда возвратился в следующем году в августе месяце.

В августе возвратился из Китая комиссар Ерофей Фирсов с товарищем Константином Игумновым и целовальниками; при них были вымененные казенные товары, с которыми они вскоре отправились из Иркутска в Тобольск водою.

В октябре прибыли в Иркутск освобожденные из ссылки: из Охотска бывший генерал Антон Дивиер и князь Алексей Барятинский, из Камчатки в ноябре — князья Николай, Алексей и Александр Долгоруковы. Они в следующем году уехали в Россию. Все эти лица были жертвою известного Бирона. Императрица Елисавета Петровна при вступлении своем на престол ознаменовала начало своего царствования разными милостями, и многим невинным, сосланным, в различныя места Сибири, даровала свободу.

Декабря 15-го р. Ангара покрылась льдом.

Сего года обнародована народная перепись, вторая, в которую не должны были войти ясачные.

1743 г., 5 марта р. Ангара вскрылась от льда, простояв под льдом 111 дней.

Ротмистр Шарыгин прибыл с манифестом, которым обнародовано, что Великий князь Петр Федорович назначен наследником российского престола.

Восстановлены губернские магистраты под начальством главного — в С.-Петербурге.

В марте прибыл миссионер, архимандрит Иоасаф Хотунцевский с братиею, следующие в Камчатку. Хотунцевский был Крутицкого архиерейского дома экзаменатор и иеромонах. Свиту его составляли: иеромонахи Нахомий и Иоасаф, иеродиакон Александр, студенты Петр Логинов, Василий Кочуров, Степан Никифоров, Федор Григорьевич Серебряков, Алексей Ласточкин, Дмитрий Камшигин и Петр Грязной. Миссии этой назначено пробыть в Камчатке семь лет; денежное и хлебное жалованье, против прежних миссий, настоящей увеличено: архимандриту 500, иеромонахам по 250 руб., иеродиакону 200, студентам, которые будут занимать высшие учительские должности, по 150, а низшие — по 100 руб. в год; сверх того, получал из них каждый по 7 пуд. 10 ф. муки ржаной и 1 пуд. 20 ф. круп на год. Хотунцевский был один из ревностнейших миссионеров на полуострове, пробыл там до 1750 г. и в семилетнее свое пребывание просветил верою в Спасителя 4719 душ об. пола. Его ходатайством строились там новыя церкви: в Верхне-Камчатке — св. Николая, в Петропавловской гавани — св. Апостол Петра и Павла, в Ичинском остроге — Вознесенская, в Тигиле — Рождества Христова, с определением к сим церквам священников и причетников, с окладом достаточного жалования и хлебной дачи. На построение вышесказанных церквей он получил указ св. синода от 3 марта 1747 г. Сверх сего, Хотунцевский устроил в Большерецке и Нижнекамчатске народныя училища, в которых вскоре насчитывалось до двухсот обу-

---

* Впрочем, я слышал, от стариков иркутян, имевших свои памятные записки, что Уваров приезжал с присягою Иоанну-Ильриху, а по случаю восшествия на престол императрицы Елизаветы приезжал с присягою и манифестом в январе 1742 г. поручик Кар.

чающихся грамоте мальчиков. Эти заведения принесли краю большую пользу. Хотунцевский посвящен в архимандрита в Москве и пред выездом получил инструкцию от св. синода (от 7 декабря 1742 г., за подписом обер-секретаря Якова Левадинова). Эта инструкция как документ не только замечательный в свое время, но и в настоящее весьма любопытный в 29 пунктах содержит следующее:

В 1-м и 2-м: Взять надлежащее сведение в Тобольске и Иркутске о церковных вещах, пред сим порученных игумену Филевскому, и, буде не отправлены в Камчатку, отвезти, дополнив всем нужным.— В 3-м: Самому архимандриту Иоасафу вести жизнь пастырско-христианскую, утверждая слово учения примером, и к тому руководствовать всех вверенных его начальству и назиданию.— В 4-м и 5-м: Заботиться о просвещении иноверцев; давать им десятилетнюю от платежа ясака льготу и на этот предмет сообщать в светския команды о всех новопросвещенных списки, с показанием их прежних и новых имен.— В 6-м: Внушать новопросвещенным, чтобы ходили в церковь на молитву, особенно во дни праздничные и высокоторжественные. На ослушников налагать вместо штрафа легкую церковную епитимию, например: велеть в церкви публично класть по нескольку поклонов и т. п. Внушать также, чтоб крещеные от сообщения с некрещеными, сколько возможно, удалялись.— В 7-м: В случае обращения новокрещенных к прежним языческим обычаям, если все сделанныя им чрез миссионеров и прочих камчатских священников увещания окажутся недействительными, относиться к светскому начальству, но ни в каком случае таких дел не продолжать трех дней, и судебными обрядами новопросвещенных не связывать. — В 8-м: Не налагать никаких продолжительных повседневных молитв, ибо довольно им по утру и в вечеру прочитать молитвы солдатские, читаемые при полках, которые, буде возможно, и перевести на язык камчадальский.— В 9-м: Постов продолжительных на новокрещенных не налагать; но заповедовать вообще воздержание, особенно пред приобщением св. Тайн, внушая при всяком случае, что «объедение и пьянство — великий грех»,— В 10-м: Увещевать к неопустительному, преимущественно в великий пост, приобщению св. Тайн, но надлежащей исповеди, обнадеживая оставлением всех грехов.— В 11-м: Больных располагать к принятию св. Тайн в какое бы ни было время, не поставляя препятствием принятия пищи.— В 12-м: Располагать новокрещенных к делам милосердия и вспоможения престарелым и бедным, но не ленивцам и посоветовать новокрещенным, чтоб они выбрали единого или двух из среды себя, которые бы собранное разделяли требующим.— В 13-м: Воспретить несведущим людям, под опасением отсылки к светскому суду, разрешать какия-либо недоумения относительно веры, но или принять это Хотунцевскому на себя, или поручать искусному:— В 14-м: Истреблять волшебство и суеверия.— В 15-м: Наведываться о не крещенных младенцах и взрослых, уклоняющихся от слушания проповеди.— В 16-м: Восприемников избирать преимущественно из родственников крещаемого; иногда быть и самим миссионерам, по желанию.— В 17-м: По приобщении св. Тайнам поучать богоугодному житию.— В 18-м: Не позволять новокрещенным многоженства, но благословлять брак по церковному чиноположению с одною женою, а остальным дозволять выходить за других мужей.— В 19-м: Если бы явно или тайно дознано было, что кто-нибудь из начальствующих или других русских людей, из прибытка или иных видов, отвращает иноверцев от принятия христианства, то таких совратителей отсылать к светскому суду и о том доносить св. Синоду и Иркутскому архиерею.— В 20-м и 21-м: Никаких не употреблять насильственных мер к привлечению иноверцев к крещению, но располагать к тому кротким и постоянным убеждением и объяснением заслуг Искупителя. — В 22-м: Камчатской землицы всем священноцерковным и новокрещенным быть в Иркутской епархии, и потому архимандриту всякое свое недоумение представлять на разрешение Иркутского преосвященного, яко законного пастыря и архиерея своего.— В 23-м: Для проездов на дело проповеди подвод и вспоможения требовать от местных комиссаров.— В 24-м: О новокрещенных представлять ведомости Иркутскому преосвященству.— В 25-м: Членов миссии содер-

жать в повиновении и во взаимной любви.— В 26-м: Учредить школы для камчатских отроков.— В 27-м: Для наполнения священнических и причетнических при камчатских церквах мест, в проезд чрез Тобольск и Иркутск искать охотников и достойных из них представлять к рукоположению того архиерея, в епархии которого таковые будут найдены.— Архиереям по представлению архимандрита исполнять. Но если и за всем тем будет в причетниках недостаток, то пополнять оный якутскими казачьими детьми и обученными камчатскими отроками.— В 28-м: Присмотреть и донести Иркутскому преосвященному для донесения синоду, какие особенные тамошнего народа суеверия.— В 29-м: предписывается не задерживать в пути следования архимандрита Хотунцевского и проч.

Неизвестно, как велико было народонаселение Камчатского полуострова до приезда Хотунцевского, но известно, что Хотунцевский оставил там 11 544 д. христиан. Заслуги Иоасафа были награждаемы правительством: св. Синод в декабре 1749 г. назначал его на Иркутскую епархию, праздную по случаю кончины преосвященного Иннокентия Неруновича в Братском остроге, но до 1758 г. Хотунцевский оставался еще архимандритом и сего года хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского и викария Новгородской епархии, а определенным в Иркутскую епархию не был. После Хотунцевского (1750 г.) остался правителем миссионерских дел в Камчатке иеромонах Пахомий, впоследствии архимандрит, достойный преемник Хотунцевского и о коем записано в летописи нашей, что он погиб 14 февраля 1776 года во время пожара Иркутской консистории. Пахомий был последним миссионером в Камчатке из вернего духовенства; после него дела миссии поручались белому духовенству.

Проехал чрез Иркутск определенный от Сибирского приказа воеводою в Якутск ст. сов. Кондратий Кенинг.

В августе возвратился из Якутска в Иркутск преосвященный епископ 2-й Нерунович.

В ноябре прибыл в Иркутск миссионер архимандрит Гервасий Линцевский, ехавший в Китай. Гервасий был Киевско-Злотоверхо-Михайловского монастыря наместником. Когда получено было уведомление о кончине в Пекине архимандрита Илариона Трусова, преосвященному Рафаилу, архиепископу Киевскому, св. Синодом повелено было посвятить Геврасия в архимандрита Пекинского и по высочайшему соизволению пожаловать ему наперсный крест, какого предместники его не имели. Свиту его составляли иеромонахи Киевско-Софийского монастыря Иоил Врубчевский и Феодосий Сморжевский и церковник Алексей Смольницкий. Миссия эта прибыла в Пекин до 1755 года. По приезде Геврасия Линцевского в С.-Петербург он посвящен в Петропавловском соборе в епископа Переяславского в 1757 году, а Феодосий Сморжевский в архимандрита Севского.

Приезжал из Тобольска прапорщик Василий Федоров (а по другим — Федотов) за понуждением о составлении отчетных ведомостей по делам управления.

Декабря 19-го река Ангара покрылась льдом.

1744 г. В феврале месяце прибыл в Иркутск с радостным манифестом о заключении с Швецией мира камергер Алексей Жеребцов. Приезд этот вестника ознаменован следующим торжеством. По малочисленности Иркутского гарнизона к параду вызваны были охотники из граждан, которые заблаговременно должны были обучиться военному строю и пальбе из ружей; охотников нашлось до 200 чел., и им приказано быть готовыми чрез два дня. На третий день назначенного торжества войска и граждане явились на место сбора в военной одежде с ружьями и с выданными для стрельбы патронами. Начался благовест в соборе к молебствию и литургии, которые совершал преосвященный Иннокентий 2-й епископ Иркутский с городовым духовенством. Во время благовеста камергер Жеребцов выехал из квартиры в дом посадского Свендерского, где ожидал его парадный поезд; отсюда вся процессия двинулась к собору на верховых лошадях; впереди ехал поручик Сухарев, за ним четверо гренадеров в белых голевых перевязях, а за гражданами Жеребцов с лавровою ветвию в руке. Когда он приехал к параду, войско отдало ему честь ружьем, а при входе на цер-

ковное крыльцо встретили его вице-губернатор Ланг с чиновниками и гражданами города. После окончания церковной службы у вице-губернатора был для радостного вестника и городовых особ богатый обеденный стол, где пили за здоровье императрицы, что сопровождалось пушечною и ружейною стрельбой. Пред обедом вице-губернатор поднес Жеребцову подарки, состоящие из денег и дорогих китайских материй. На другой день поднесены ему были тоже подарки от чиновников и купечества. После трехдневного торжества камергер Жеребцов уехал в Евр. Россию.

Восстановлен по-прежнему магистрат. Бургомистрами выбраны Мясников и Петровский, президентом Глазунов, ратманами — Елезов и Турчанинов.

Апреля 2-го р. Ангара вскрылась от льда.

В июле месяце уехали в Петербург купцы: Максим Глазунов, Михайло Маньков, Иван Бичевин и Василий Сибиряков; они повезли туда 40 000 руб. чистой прибыли от питейных сборов.

Приехали из Тобольска подполковник Степан Угрюмов и капитан Сергей Плохов для производства народной переписи, в которую женский пол не был записан. Летопись отзывается об этих чиновниках, что они даже осматривали домы и имущество, отыскивая, кто имел порядочное состояние. Результаты переписи этой обнародованы 1742 года.

Декабря 30-го р. Ангара покрылась льдом.

1745 г. В январе м. приехал в Иркутск с караваном, следующим в Китай, директор Герасим Рембратовский. Рембратовский был прежде соборным певчим в Иркутске; преосвященный Иннокентий якобы за утайку какого-то монастырского имущества удалил его из духовного звания и положил на него страшное заклятие, но в нынешний его приезд он получил от архиерея прощение от заклятия.

Апреля 5-го р. Ангара вскрылась от льда.

Прибыл из Селенгинска бригадир Варфоломей Валентиныч Якобий по делам службы.

В мае м. начата постройка при Тихвинской деревянной церкви; пристроен придел во имя в. пророка Илии Фесвитянина.

Свирепствовала в Иркутске и уезде его оспа.

Построен в Иркутске частным лицом первый каменный дом. Полагают, что этот дом построен Иркутским купцом Михайлом Иванычем Глазуновым (тот, что ныне дом градской думы), другие же считают первым домом, построенный купцом Протопоповым, что ныне купца Царегородцева.

Для окончания народной переписи по приказанию генерала Чернцова прибыл в Иркутск из Томска полковник Гаврило Рязанов с поручиком Иваном Елезовским. Полковник Угрюмов, производивший перепись, вскоре оказался больным и, получив увольнение от генерала Чернцова, уехал в Тобольск в январе следующего года.

В сентябре проехал из Москвы в Нерчинск воеводою Федор Погадаев.

Декабря 31-го р. Ангара покрылась льдом.

1746 г. Проехал в Троицкосавск адъютант Ознобишин для ареста тамошнего коменданта Симона Свиньина и описи его имения.

В феврале выехал из Иркутска в Тобольск полковник Гаврило Рязанов. Он отец бывшего в Иркутске совестным судьей Петра Гаврилыча Рязанова и дед известного посланника в Японию, действительного камергера Николая Петровича Рязанова, скончавшегося на обратном пути чрез Охотск, Якутск и Иркутск в Красноярск 1 марта 1807 г.

Апреля 5-го р. Ангара вскрылась от льда.

Августа 13 преосвященный Иннокентий выехал из Иркутска на судне вниз по р. Ангаре для обозрения своей епархии.

Сентября 26 архимандрит Нафанаил освятил соборный храм Богоявления Господня. Другие относят освящение этого храма к 1741 году.

Декабря 31-го р. Ангара покрылась льдом.

Из Китая возвратился директор Рембратовский с целовальниками и вскоре уехал с казною в Тобольск.

Публикация подготовлена Н. Кринбергом

Александр Турик

ТРЕЗВОСТЬ: БОРЬБА ЗА ДАЛЬНИХ И БЛИЖНИХ

«Спивающийся наш народ впадает в алкогольное вырождение. Образуется как бы новая порода полусумасшедших людей преступного склада, у которых характер лишен уравновешенности и культурной сдержанности, а ум угнетен отравой. Россия наводнена полусумасшедшей армией тунеядцев и хулиганов, и трезвеннические элементы народа, редеющие в общем пожаре пьянства, едва отбиваются от пропившейся братии. Ученые открывают в области спиртного наркоза ужасные последствия. Не говоря о физиологическом погроме, который спирт вносит в нервную систему, в мозг, в желудок, печень, сердце и пр. Этот казенный яд отравляет дальнейшие поколения. Дочери пьяниц теряют способность быть матерями, так как уже не могут кормить грудью. Стало быть пьянство грызет не только самого человека и его достаток, оно грызет его тело и душу, оно замучивает тысячелетнее племя, подсекая корни роста, его здоровье и плодовитость».

В этих емких и точных словах выдающегося русского психиатра И. А. Сикорского, написанных в 1895 году, через несколько лет после введения государственной винной монополии, заключена вся разрушительная сущность алкоголя и гибельные последствия его в народе. Эти слова полностью относятся и к нашему времени, с той лишь жуткой поправкой, что сегодня в России потребление алкоголя выросло по сравнению с теми временами в три—четыре раза. В этой ситуации алкогольной разрухи, поразившей наш народ, нелепыми, а то и просто глумливыми выглядят высказывания некоторых наших «прогрессивных» деятелей, например, Е. Евтушенко, о пользе «культурного пития». Что ж, кому, как говорится, война, а кому — мать родна...

Беда не в том, что тот или иной «культурпитейщик» обнародует свои неверные суждения, а в том, что в полемике в печати о проблемах борьбы за трезвость возобладали голоса людей, которые не имеют личного опыта участия в этом движении и не обладают необходимыми статистическими сведениями в области этой страшной социальной болезни. В большинстве публикаций последних двух лет, как по команде заполнивших центральную и местную печать, вся проблема свелась в основном к обсуждению порядка распродажи этого яда населению, с упором на мифические «отрицательные» последствия сокращения продажи алкоголя и затруднения доступа к нему. О старушке, погибшей в очереди, и сегодня вспоминают, а о сотнях тысяч наших братьев и сестер, спасенных благодаря этим хулимым мерам — ни слова. А ведь в основном благодаря этим мерам, принятым после Постановления от мая 1985 года, в нашей стране впервые за последние десятилетия пошли на снижение смертность населения, преступность, пошла вверх рождаемость и увеличилась продолжительность жизни, зримо оздоровилась моральная атмосфера в обществе. До этих мер в стране умирало по причинам, непосредствен-

но связанным с употреблением алкоголя, около 900 тысяч человек! Нетрудно подсчитать, что за десятилетия разгульного застолья число погибших приблизилось к потерям в последней войне. Вдумайтесь: в наши школы каждый год вливается около полутора миллионов дефективных детей. Вот уж где заговор против будущего!

Запретительные и ограничительные меры против распространения массовых пороков, грозящих вырождением народу и распадом обществу, совершенно необходимы, как необходимы карантины во время эпидемий и возведение плотин во время наводнения. Другое дело, что эти меры должны сопровождаться широким и систематическим разъяснением буквально каждому человеку, их смысла и насущной необходимости. Этой-то задачей и должно было заниматься Всероссийское общество борьбы за трезвость (ВДОБТ), но оно с этой задачей не справилось. Почему? В первую, очередь потому, что с самого начала к руководству обществом снизу доверху пришли (точнее, были назначены из номенклатуры) люди, которые до этого ни сном ни духом не ведали о борьбе за трезвость. Подлинные же добровольцы, вдохновленные страстной проповедью и патриотической позицией академика Ф. Г. Углова и новосибирского ученого В. Г. Жданова (оба сибиряки!), распространяли правду об алкоголе задолго до создания общества. Они требовали от правительства решительных мер, ограждающих народ от спаивания, и, может быть, поэтому не были допущены к непосредственному руководству обществом, хотя в ряде мест сумели создать свои клубы и общества.

Не сумел противостоять ВДОБТ, да и не пытался серьезно противостоять, расширению продажи алкоголя, начатому в конце 1987 года. Это явилось серьезным моральным ударом для многих участников трезвеннического движения. Общественность пыталась протестовать, в ряде мест, в том числе и в Иркутске, были объявлены голодовки протеста, но, увы, возвращение на круги своя продолжается. На сегодня ситуация ухудшилась, темпы роста продажи алкоголя по стране сравнимы разве что с галопирующими темпами роста преступности — бездна бездну призывает... И опять Центральный Совет ВДОБТа помалкивает.

В октябре 1988 года в Москве разыгрался фарс с выборами нового председателя Центрального Совета. ЦС был завален телеграммами и письмами с мест в поддержку кандидатуры академика Ф. Г. Углова, но ни одна из них не была даже зачитана, делегациям из областей не дали слова. Член ЦС писатель Василий Белов в знак протеста покинул зал заседания. Председателем был избран главный редактор «Известий» И. Д. Лаптев, который ранее ни при каких обстоятельствах, как говорится, не был замечен в борьбе за трезвость. В газете, возглавляемой лидером трезвости страны, не было опубликовано ни одной статьи за утверждение трезвости. Более того, 11.5.89 в газете появилась статья собкора «Известий» М. Ильинского «Когда капля не мелочь», посвященная «проблеме» пропаганды советских вин за рубежом. В статье прославляется высокое качество вин и сетуется на плохое качество оформления бутылок. Автор заключает: «Из капель стекаются ручьи, реки. И тогда капля не мелочь». Да, из капель слез женщин и детей, пролитых по вине пьяниц могло бы получиться и море, и пропагандисты «культурного пития» могут поставить это себе в заслугу...

На алкогольном фронте гибнут не только сами потребители алкогольного яда и жертвы пьяной преступности, но и подлинные борцы за трезвость. Потрясенный фарсом упомянутых выборов, умер в поезде по дороге домой прямо на руках у академика Углова его сподвижник Ермилов. Два года ранее скончался от инфаркта ленинградец Г. А. Шичко, автор ныне известного безмедикаментозного метода избавления от алкогольной и табачной зависимости, отчаявшись пробить для своего открытия бастионы бездушного и преступного бюрократизма. На фронте громил фашистов, потерял ногу, а своих доморощенных властолюбцев одолеть не смог. Но дело его живет, его методика работает более чем в 60 городах страны, в Иркутске эту работу ведет патриотическое объединение «Верность», можно сказать, выросшее из клуба трезвости «Берег».

Отступления на антиалкогольном фронте и компромиссы, о недопустимости которых говорилось с самых высоких трибун, сегодня многих разочаровали, но в то же время способствовали сплочению наиболее активной части трезвеннического движения. В ноябре прошлого года на конференции клубов трезвости в Новосибирске, на которой присутствовало около 300 делегатов из 54 городов страны, было принято решение о создании альтернативного ВДОБТу «Союза борьбы за народную трезвость». Почетным председателем стал Ф. Г. Углов, а центром — Новосибирск. В Иркутске представителем Союза является объединение «Верность». Целью Союза, как провозглашено в Уставе, является «восстановление ленинских норм трезвости — полное отрезвление народов как непременное условие нравственного и духовного возрождения». Задачами Союза поставлены:

— прекращение производства и продажи алкоголя;

— пропаганда трезвости, нравственных и культурных ценностей;

— прекращение и законодательное запрещение пропаганды употребления алкоголя и табака;

— освобождение людей от алкогольной и табачной зависимости и их оздоровление;

— распространение антинаркотического законодательства на алкоголь и табак.

Таким образом, факт появления этого Союза показал, что в обществе есть силы, которые не смирились и никогда не смирятся с перспективой алкогольного вырождения народа. Этот факт еще раз подтвердил истину, что всякая бюрократическая монополия ведет к застою и загниванию, единственным лекарством от этого является творческое и равноправное соревнование разных организаций, взглядов, подходов.

На этой же конференции договорились, что там, где организации ВДОБТ работают и борются, нужно с ними сотрудничать. Но, как говорится, прежде чем объединиться, нужно размежеваться. В этой связи хочется сделать несколько замечаний о статье нового председателя областного ВДОБТа, доктора психиатрии Окладникова В. И. («Разум против безумия», «Восточно-Сибирская правда» от 14 апреля 1989 г.). Полное недоумение вызывает утверждение автора, что к употреблению алкоголя прибегают как правило психически больные люди. Если принять это утверждение за истину, то тогда наше общество — это одна большая палата умалишенных, ведь у нас употребляют алкоголь 95—99% населения. Видимо, все-таки психические отклонения у большинства появляются и проявляются уже в результате употребления этого яда. Хотелось бы также спросить автора, каким образом возможно «установить полный запрет для... летчиков, работников транспорта, руководящих работников»? Вшить им «торпеду»? А если человека сняли с руководящей работы, снова ее вынимать? И почему в этот список не включены врачи, учителя, милиция, члены КПСС? Чем они, извините за каламбур, лучше?

Никак не ожидал, что и в борьбе за трезвость нас потянет на «всемирность». Модно нынче произносить призывы к «всемирной» борьбе, а вот попробуйте-ка наладить эту борьбу и добиться успехов у себя в учреждении, городе, области. Здесь каждого будет подстерегать судьба Ермилова и Шичко, сотен других безвестных подвижников, не обретших никаких лавров, а только синяки и шишки. Слишком мощные силы заинтересованы в продолжении спаивания нашего народа — от торгово-финансовой бюрократии до мощных русофобских и антисоветских сил в мире. Гитлер и его команда не считали разгром вооруженных сил России достаточной мерой для приведения россиян к вечному повиновению. Планом имперской рейхканцелярии «Ост» (Восток) такой достаточной мерой считалось «разрушение, разобщение русского народа». Для этой цели предполагалось снижать всеми мерами русскую рождаемость, сделать аборт самой доступной «медицинской» услугой, механически смешивать русских с другими народами, истреблять национально мыслящую интеллигенцию, искоренять «врожденный русский патриотизм», гасить любую высокую национальную идею, навязывать обывательский эгоистический образ жизни, вещизм и т. п. Еще в «Майн кампф» Гитлер писал: «Для них, для славян, никакой гигиены, никаких при-

вивок — только водка и табак». Все эти меры должны были свести славян «до языка жестов», до положения «полуевропейцев». И нужно быть наивным простаком или тупоумным «прогрессистом», вроде Смердякова, чтобы не видеть, что эти универсальные методы сегодня взяты на вооружение другими претендентами на мировое господство.

Алкоголь не просто «напоминает химическое оружие массового поражения», как пишет автор, а он, по нашему мнению, является им, и не раз успешно применялся оккупантами, например, против индейцев Северной Америки или фашистами в Польше, на Украине и в России. Алкоголь пускался в ход и теми, кто взобравшись на верхние ступени социальной лестницы, боялся потерять привилегии и право командовать и распределять. Ф. Энгельс писал в 1876 году: «Я очень хорошо помню, как в конце двадцатых годов прусская дешевая водка внезапно появилась в нижнерейнском промышленном округе... каждое празднество, которое раньше кончалось приятным весельем и только изредка какими-нибудь эксцессами, причем в последних обычно играла главную роль пивная, теперь выливалось в беспутную попойку и стало заканчиваться неизбежными потасовками, где никогда не обходилось без ножевых ран и все чаще имели место смертельные случаи. Попы валят вину за это на растущее безбожие, юристы и другие филистеры — на балы с кутежами. Истинной же причиной было внезапное наводнение нашего округа прусской сивухой, которая производила свое физиологическое действие и отправляла в крепостные казематы сотни бедняг». Пока наемные поденщики под воздействием винных паров разбираются между собой, кто кого уважает, им недосуг задуматься, уважает ли их тот, кто распоряжается их трудом.

В статье В. П. Окладникова есть интересное предложение: ввести в университете марксизма-ленинизма спецкурс о природе алкоголизма и методах его профилактики. Центральной темой такого спецкурса должна стать, на наш взгляд, тема «Алкоголь и социализм». Давайте поразмышляем. За копеечный по себестоимости алкоголь рабочий расплачивается полновесными рублями, десятками рублей. Прибавьте сюда наказания за пьянки в виде лишения премий, очереди на квартиру и т. д. Потребление алкоголя ничего доброго рабочему не приносит, один вред. Тем самым нарушается основной принцип распределения материальных благ «От каждого по способностям, каждому по труду». Подавляя способности и обесценивая труд, алкогольный яд ни под каким видом не может циркулировать в народном социалистическом хозяйстве. Алкоголь является универсальным перераспределителем доходов между пьющими и непьющими социальными слоями общества, между пьющими и непьющими нациями, между производящими алкоголь республиками и его основными потребителями в других республиках и т. д., таким образом, алкоголь является сплошь и рядом врагом социальной справедливости, уже в силу, как писал Энгельс, своего «физиологического действия». Поэтому по логике социалистическое государство должно либо передать производство алкоголя в частные руки, для которых не существует (по крайней мере, может не существовать) моральных запретов в погоне за выгодой, либо прекратить производство этого оружия массового поражения своих граждан. В нашем обществе пьют более всего в рабочей среде, здесь же и наибольший процент пораженных. Делаем вывод. Если в государстве производится алкоголь, то говорить о социалистическом характере государства можно только с оговорками.

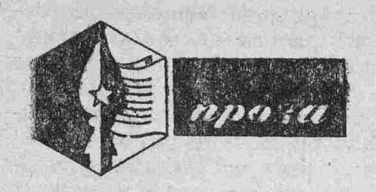
Совершенно ясно об этом сказал и Ленин: «...Водка и прочий дурман... как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму» (ПСС, т. 43, с. 326). Таким образом производство алкоголя при социализме — это вопиющее противоречие между теорией и практикой, между словом и делом. Речь идет именно и, в первую очередь, о производстве алкоголя как причине всех отрицательных последствий его циркулирования в обществе, а не об умении или неумении его «культурно» потреблять. «Производство,—писал К. Маркс,— производит... предмет потребления, способ потребления и влечение к потреблению».

Дореволюционная Россия занимала первое место в мире по рождаемости, сегодня — по количеству абортов. Каждый год мы добавляем в генетический котел нации полмиллиона алкоголиков и сотни тысяч неполноценных детей. В ряде коренных русских областей население неуклонно сокращается. Основной причиной, как показали новосибирские ученые, является употребление алкоголя. Спрашивается, чьи заветы выполняются? Гитлера?

Часто в качестве универсальной профилактической меры предлагается охватить всех граждан тотальной развлекательной индустрией. Дескать, негде развлекаться, вот и пьют. В потребительском образе жизни алкоголь является универсальным средством развлечения, т. е. отвлечения сознания и воли от решений серьезных и трудных задач жизни и выполнения своего долга в череде поколений на земле. Необходимо наполнить жизнь наших граждан высоким смыслом, возродить веру в непреходящие идеалы и ценности, тогда в их душах не будет пустоты. И о развлечениях ли нужно сейчас беспокоиться? Ведь Земля наша, наш народ в беде. И не является ли это море низкопробной развлекаловки, разлившееся вслед за алкоголем по нашим городам и весям, пиром во время чумы?

Опыт трезвеннического движения в России богат. В этом движении участвовали и выдающиеся ученые, и простые крестьяне. Имеется богатейшая литература по антиалкогольной работе. К сожалению, эта литература сейчас мало кому доступна, а ведь во многом благодаря широкой просветительской деятельности стало возможным принятие решений на местах по всей России в 1914 году о прекращении производства алкогольного яда. Крестьянские депутаты в Государственной Думе писали: «Сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой: затихло хулиганство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, появился достаток... Облегченный от тяжелой ноши — пьянства — сразу поднялся и вырос русский народ. Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная, бесповоротная мера: изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена».

Ллойд Джордж в своей знаменитой бюджетной речи в английской палате общин сказал про этот решительный шаг нашего народа: «Это самый величественный акт национального героизма, какой я только знаю!» Национальный героизм начинается с героизма или, по-русски, подвижничества отдельных личностей. «Спасись сам, и возле тебя спасутся тысячи», — говорил Достоевский — этот путь самый трудный, но и самый верный. А другого пути нет.



Леонид Бородин

МУЗЫКА МОЕГО ДЕТСТВА

РАССКАЗ

Всю жизнь крутясь в проблемах, далеких от музыки, только теперь обнаружил, как повязано было мое сознание с музыкой с самого детства.

Сначала это были народные песни, ими битком была набита память моей бабушки, купеческой дочки, иркутской интеллигентки, медсестры в русско-японскую, преподавательницы пансиона благородных девиц, учительницы сельской школы после революции.

Одних только ямщицких песен сибирского происхождения знала она не менее дюжины. Я тоже их знал. Но вот она, беспечность детства — забыл, остались только в памяти настроения от них, чаще грустное, иногда непонятно-тревожное, редко бодрящее, лихое, когда за лихостью таится расплата той же печалью, раздирающей душу.

Почти никогда не воспринимал песню только как положенный на распев рассказ о чем-то конкретном, хотя и переживал содержание, как оно того требовало; но всегда бывало в душе ощущение прикосновения к чему-то много большему, чем проговаривалось и пропевалось в песне. Грусть песни была о чем-то общем, о том, что у каждого человека где-то за спиной и у меня тоже... Нынче догадываюсь или предполагаю, что это нечто религиозное, присутствующее в русской песне, и только в русской, ибо с тех же давних дней полюбил украинские песни, их редчайшую музыкальность, исключительную лиричность и, сравнивая, признаю несравнимость их, потому что это просто разные жанры творчества народного, как различны и источники их сотворения, способы восприятия и переживания их.

Нынче усилиями профессиональных певцов, использующих народную песню как способ тренировки голосовых сказок, утрачено это глубинное звучание народной песни. Псевдотрагизм или певдолихость, что пытается изобразить певец или певица голосом, позой, жестом, воспринимается как привычный элемент театрализации исполнения.

От бабушки своей узнал я и о русском романсе, но по причине возраста оценить его по достоинству не смог. Почему-то именно «Пара гнедых» Апухтина, содержанием менее всего отвечающая возможностям понимания в том моем возрасте, почему-то именно этот сентиментальный романс остался в памяти на всю жизнь. А любил я другое — «Песнь старого капрала, осужденного на смерть». Неизменно вышибающий из меня слезы рассказ о расстреле старого солдата я не только любил слушать, но и исполнял его для самого себя, изображая одновременно и расстреливаемого и растреливающих. Последнюю фразу капрала, командующего своей собственной казнью: «Дай Бог, домой вам вернуться», — я обычно произносил, уже глотая слезы; затем имитировался ружейный залп, и я падал в траву и подолгу лежал на спине, глядя в небо, и так глубоки были переживания, что

требовалось время, чтобы вернуться к жизни и начинать замечать вокруг себя эту самую жизнь — кузнечика, качающегося на высокой травинке, или муравья, ползущего по рукаву рубахи.

Пока была жива бабушка, у нас в квартире еженедельно вывешивалось на стене около радиоприемника расписание радиопередач. Разумеется, не всех. «Театр у микрофона» и концерты классической музыки. Классическая музыка входила в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца. Чудесный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остается. Нет, конечно, воспринять какую-нибудь оперу всю целиком (по радио!) мне тогда было не под силу. Но отдельные арии и музыкальные фрагменты уже к двенадцати годам стали счастливой собственностью моей памяти, а музыкальной памятью я не был обделен, как и голосом, и со стороны было бы, наверное, и умилительно и смешно видеть и слышать, как двенадцатилетний мальчишка на скале над Байкалом в беспомощно-театральном и наивном жесте протягивая руки перед собой, со слезами на глазах, с абсолютной музыкальной точностью воспроизводит и изображает страсти Дубровского или Каварадосси. Я знал наизусть десятки арий. Но были и самые любимые, в музыкальности которых мне виделось и чувствовалось подлинное колдовство, ибо я не мог понять, как из обыкновенных звуков может складываться нечто такое, отчего по коже пробегает холодок, хочется плакать счастливыми слезами, еще, хочется взлететь и парить над миром с великой и необъяснимой любовью к нему, к миру, о котором я еще, собственно, ничего не знаю и почти не страдаю от этого...

Первые две фразы из арии Надира — В сиянье ночи лунной ее я увидал... приводили меня в трепет. Я воспроизводил их стократно, вслушивался в свой голос, в слова и пытался понять, почему они переворачивают мне душу, почему в сердце счастье, какое мне дело до какого-то Надира, которого я вовсе и не представлял реально, потому, что не знал оперы, и более того, кажется, и не хотел знать, ария Надира существовала для меня сама по себе, как нечто совершенно самостоятельное и законченное (как и прочие арии, особенно мною любимые), законченность ее была именно в том впечатлении, какое она на меня производила, ведь, как помнится, я и смысл-то ее не понимал, сами слова были лишь дополнением, лишь необходимым комментарием к тому человеческому чувству, что было зашифровано в музыке и воспроизводилось на струнах моего сознания. Кто-то великий и могущественный вложил свое могущество в звуки и, обманув смерть, остался среди живых, и по-доброму забавлялся и колдовал над живыми и надо мной и, может быть, потешался над моим ребяческим недоумением, щедро оплачивая мою доверчивость причащением к красоте.

Как раз в то же время я начал изучать в школе иностранный язык и изумлялся тому, что люди могут понимать друг друга, называя предметы Бог знает какими словами, но обязательно не теми, какими их называем мы. «Дэр тыш» — это стол. Ну, какой же это стол, если он дэр тыш! Потом пошли трофейные недублированные фильмы, где люди произносили ужасные звуки, но отлично понимали друг друга. Мне казалось, что они, эти «не наши» люди, специально придумали хитрый шифр, чтобы мы их не понимали, а когда титры воспроизводили какие-нибудь очень сложные фразы, я сомневался, что каким-то другими словами можно выразить так много, и подозревал подвох. Это изумление перед иностранным языком сохранилось у меня на всю жизнь, тем более что со временем обнаружилась моя хроническая неспособность к языкам. Читая моего любимого Диккенса, я, уже будучи почти взрослым, сталкиваясь с тончайшими нюансами диккенсовской прозы, не мог представить себе эти нюансы на другом языке, и уже значительно позже, когда наткнулся впервые в подлиннике диккенсовского текста на нечто большее, чем можно было бы дословно перевести — это открытие привело меня в восторг.

Так вот тогда, в двенадцать лет, столкнувшись с иностранным языком, я сделал для себя предположение, что музыка — это тоже своеобразная шифровка того, что обычными словами непередаваемо. Ощущение непередаваемости мне уже было знакомо. Не передавалась словами смена

цветов байкальской воды или запах прибрежных камней после шторма, не передавались настроения души, особенно перед лицом природы, не выражалась в словах любовь, которой я был полон в то время к одной своей сверстнице.

И потому, к примеру, «Рассвет на Москве-реке» из «Хованщины» был принят мной сразу. Москвы-реки я не знал и не представлял, но рассвет над Байкалом — это было как раз то самое, о чем «рассказывала» музыка. Она словно освобождала меня от необходимости, а точнее, от потребности «понимать» красоту, то есть, думать над ней и пытаться зафиксировать ее в словах (а эта потребность уже тогда основательно мучила меня), но она, музыка, позволяла мне просто воспринимать красоту напрямик, без посредника (слова), и тогда это восприятие оказывалось не только более полным, но и более радостным, и уже забывалось, где подлинник, а где его отражение, то есть запах талой весенней воды вызывал в сознании какую-нибудь конкретную музыку и казался шифром ее, и, наоборот, какая-то впервые услышанная мелодия напоминала об осени и серой хмури за окном и казалась сотворенной дождями и сквозняками, гулявшими по ущелью от первого дома до последнего.

На много лет удивительной загадкой оставалась для меня «Лунная соната». Мелодия ее не поддавалась воспроизведению ни голосом, ни свистом, особенно первая, самая красивая ее часть. Когда я слушал ее, то казалось, знал наизусть. Каждый следующий звук, каждый аккорд не просто узнавался, а будто бы сотворялся по своему велению, так прочно были запечатлены они памятью. Но попробуй пропеть! Музыки нет. Есть негромкий разговор звуков о чем-то светло-печальном, о чем-то настолько личном и интимном, что кощунством было бы пытаться повторить эти звуки даже для самого себя, и потому, они не поддавались повтору, оставались как бы однажды и навсегда произнесенными кем-то, кто был посвящен в тайну их происхождения.

Слова! Да, «Лунная» казалась мне составленной из музыкальных слов, это явно был рассказ о чем-то таком, что пережито каждым, и каждым по-своему, и, чтобы не перепутать свое с чужим, найден язык, одинаково всем понятный и непонятный. Всякий слушает, переводит по-своему, и на всех хватает. Сколько было поколений, сколько будет — с каждым эта музыкальная повесть говорит на его собственном языке.

Так можно было бы сказать о любой настоящей музыке и вообще о любом произведении искусства, да оно так и есть, и это рассуждение даже банально, но тогда, в свои двенадцать лет, именно «Лунная», и только, пожалуй, она одна, рождала в моем сознании мысли, подобные этим, конечно, только подобные, и были это всего лишь полумысли, получувства, но они запомнились, значит, стоили того.

По запросам характера тяга у меня была к героической музыке, а по-настоящему трогала все же сентиментальная, или, правильней сказать, лирическая музыка, да простится мне сия непрофессиональная терминология. И много я мог бы сказать о значении, о роли в моей жизни этого противоречия, о тщетных попытках его преодоления, о последствиях... ибо позднее обнаружилось оно, это противоречие, не только в отношении к музыке, но без преувеличения сказать, — во всех отношениях с миром бытия, а хотелось быть прямым и однозначным, и каждая попытка стать таковым (в свою ли угоду или в угоду кому-то, кто высказывал в мой адрес требования или пожелания однозначности) оказывалась ошибкой, за которую приходилось расплачиваться с годами все большей и большей ценой. Ныне понимаю это как нецельность характера, но что-то не нахожу в себе сожаления по данному поводу. Может быть, просто потому, что сожалеть уже поздно...

Как бы там ни было, была у меня в детстве тяга к героической музыке, к героико-трагической даже. «Эгмонт» и «Князь Игорь», Пятая Бетховена и «тореодор» воспринимались мною почти одинаково — с возбуждением. Меня никто не учил понимать. Мне говорили — слушай! Я слушал. Что-то прививалось, а что-то нет. И потому увертюра к «Кармен», собственно, ее «тореадорная» часть, и, к примеру, Второй концерт Рахманинова находились на одной полке моего понимания.

Кстати, именно с «Кармен» началось

мое знакомство с оперой в ее подлинном виде. Я уже знал «Тореадора», «Хор мальчиков», «антракт», наверное, слышал «Хабанеру» и «Сегидилью», но к женским партиям в операх был равнодушен.

Мои родители были занятые люди, и им некогда было особенно-то вникать в загадки моей психики, иначе не повели бы они двенадцатилетнего мальчишку на «Кармен». Но приехали в Иркутск, а там «Кармен», а насвистыванием и напеванием «Тореадора» я им уже изрядно надоел.

На увертюре я обмирал от восторга. Оркестр! Но потом началось нечто для меня невообразимое. Несколько импозантных и красивых дядей, выйдя навстречу очень большой, красивой и нарядной тете, хором спросили ее: «Скажи, Кармен, когда ты полюбишь нас?» Я, помнится, даже рот открыл. Как! Всех сразу! Я был уверен, что красивая тетя с завитушками около ушей скажет им: «Шли бы вы знаете куда, психи ненормальные!» Но тетя тряхнула кудряшками и отвечала: «Вас когда полюблю, сама не знаю я. (!). Верней, никогда. Или завтра, друзья. Нынче ж нет, знаю я».

«Господи, — думал я, хорошо, что хоть «нынче нет», а завтра, я сюда не приду!» И дальше тетя, вильнув по сцене туда-сюда, оперлась рукой на бедро, как на подоконник, и начала рассказывать, что такое любовь. По ее словам получалось, что любовь — это что-то вроде зеленого кузнечика. Ладошку насторожил, хлоп! А он у тебя на волосах сидит. Ты за волосы, а он уже на одуванчике вирижжит! В общем, ты ее ловишь там, а «она здесь вновь».

Когда она это все рассказала, все ужасно хлопали, и моя мама тоже. Хлопать так хлопать, ладошки у меня не отвалятся. Но что до любви, то эта тетя хотя и была по величине в две моих мамы и полтора тореадора, хотя и был у нее голос шибче самой голосистой поселковой коровы, — в любви она ничего не понимала, уж я-то мог сказать об этом определенно. Что-то совсем другое понимала она под словом «любовь». При этом мнении (или заблуждении) я остаюсь и поныне, и текст прославленной «Хабанеры» и поныне мне кажется вершиной пошлости, которая лишь по какому-то странному недоразумению не оскорбляет слух самих исполнительниц.

Я с удовольствием прослушал «Тореадора» и хор мальчиков, и «антракт», но сама Кармен не вызвала у меня никаких чувств, в смерть ее я не поверил, а страстей Хосе не понял. Больше на «Кармен» я никогда не был.

Вспоминаю и улыбаюсь. Вот я стою на вершине своей любимой скалы над Байкалом и возвещаю миру: «И что ж! Земфира не верна! Моя Земфира... охладе-е-ела!» Своим звонким мальчишеским голосом я не только с исключительной точностью воспроизвожу музыкальные фразы, но и тот вокальный нюанс, символизирующий перепад голоса на грани рыдания. Оперы я еще не знаю. Поэмы Пушкина тоже. Я лишь предполагаю, что должно делать по произнесению последней фразы, и самым логичным мне кажется — закрыть лицо руками и упасть как можно более плашмя, я так и делаю, но я на скале, и под ногами камни, плашмя не шибко-то получается, колени и локти машинально выдвигаются вперед, и падение получается некрасивым. Но ведь, в конце концов, меня никто не видит, и потому можно повторить... И я повторяю арию целиком и падение и, добившись вполне сносного исполнения, возвращаюсь домой удовлетворенный и успокоенный.

Может ли человек знать свою судьбу? К счастью, не может. А предчувствовать? Скажете мне, что и это из области фантазии, а я тогда спрошу, почему в двенадцать лет ария князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу!» казалась мне рассказом про самого себя? Она мне нравилась, как и многие прочие арии, может быть, и более прочих, но помимо «нравилась» было еще что-то, что заставляло меня вслушиваться в собственный голос и испытывать при этом нечто такое, что могло быть отнесено в область, близкую к мазохизму. Какое отчаяние вызывала у меня последняя фраза арии из-за ее низкого регистра! Чтобы пропеть эту фразу мне приходилось прыгать октавой выше, а это нарушало естественность исполнения, раздражало, но именно в последних словах пряталось и приоткрывалось для меня нечто жутковатое, непонимаемое совершенно, но непосред-

ственно воздействующее на те струны моей души, которые приспособлены к реакции на трагическое.

«Тяжко, тяжко мне, тяжко созание бессилия моего!»

Через многое понадобится пройти мне в жизни, чтобы собственным опытом узнать, что нет для человека ничего более ужасного, чем ситуация осознанного бессилия.

Несмотря на столь раннее увлечение музыкой, я не стал ни музыкантом, ни даже просто знатоком музыки. Целые области музыкальной культуры остались неосвоенными. Камерная музыка, к примеру, но до сих пор к человеку за роялем я испытываю почти благоговение, конечно, если при этом рояль не превращают в придаток к барабану. И одна сценка в связи с этим сохранилась в памяти на всю жизнь.

В пятьдесят первом году я поехал с родителями в отпуск в Ленинград. Остановились мы у родственников, и мне была предоставлена полная свобода действий, т. е. выдавались карманные деньги на проезды, мороженое и кино, и я должен был возвращаться домой до темноты. Правда, наиболее известные достопримечательности города мы посещали вместе. В обычные же дни я садился в двадцать четвертый трамвай, что шел по Среднему проспекту Васильевского острова, доезжал до Большого проспекта и там пересаживался на любой вид транспорта, какой оказывался под рукой. Называл сам себе любое количество остановок, положим, пять и на пятой сходил и приступал к осмотру ближайших кварталов, то есть попросту шатался по городу, пяля глаза на дома, мосты, статуи, афиши и на людей... Заблудиться не боялся, потому что знал адрес, и любой милиционер, достаточно мне было сказать, что я из Сибири и заблудился, готов был доставить меня чуть ли не до самого дома.

И вот однажды, как обычно сев в трамвай, трясся в нем до загаданной остановки. Она называлась «Дом культуры им...», чьего имени, уже не помню, да и несущественно. Сошел и убедился, что действительно, напротив остановки — большой клуб с афишами. Но больше ничего интересного вокруг не было. Обыкновенные дома, как в Иркутске, в основном трехэтажные, и как-то не очень чисто кругом, — короче говоря, я хотел было уже уехать куда-нибудь дальше, как увидел: у распахнутых дверей клуба, в нескольких шагах от них, прямо на земле, рядом с лужей, стоял настоящий концертный рояль, какие я только видел в кино, — черный, блестящий, всей своей необычной формой утверждающий свою причастность к «великой» музыке. Он отличался от обычного пианино, от того, что стояло у нас в школе, как отличается породистый пес от дворняги... Я замер. Около рояля топтались несколько мужиков, видимо, обсуждая проблему вознесения инструмента на несколько ступенек широкой лестницы у входа и водворения его на предназначенное ему место.

Я несколько раз обошел его, осторожно прикасаясь пальцами к черным плоскостям, и откровенный восторг мой был замечен грузчиком, через плечо у которого был перекинут длинный и широкий ремень. «Красивая штука?» — спросил он меня. Я кивнул. «Хочешь попробовать?» И он как-то одним движением открыл клавиатуру, ослепившую меня молочным блеском клавишей, таинственной красотой этих исключительно правильно (по-другому не скажешь) составленных сочетаний белых и черных планочек-пластинок, способных сотворять фантастические звуки. «Ну, давай, давай, ткни пальцем, уж так и быть!» — смеялся грузчик, и остальные все тоже чему-то смеялись. Я не то чтобы обиделся, но уязвился. Подошел и указательным пальцем правой руки отстукал первую фразу «Баркаролы» Чайковского. Звук оказался непривычно глубоким, сотворенный не мной вовсе, а кем-то сильным и умным, согласившимся лишь по доброте своей подыграть мне в моем наивном хвастовстве.

«Ишь ты!» — грустно сказал грузчик, а потом вдруг отстранил меня, оглянулся по сторонам, подтащил к роялю пустой ящик, что валялся рядом, поставил его на попа, потом достал из кармана нечистый носовой платок и долго зло протирал руки, почти желтые или, скорее почти коричневые от въевшейся в них не то грязи, не то краски. Затем сел на ящик, сапогом попробовал педаль...

Я не понимал его действий. Он был

весь такой неподходящий для пребывания вблизи от небесной чистоты клавиатуры, всем своим видом — неряшливый, косматый, темнолицый, в огромных сапожищах, — он оскорблял инструмент, приспособленный и уготованный совсем другим людям... А руки его, Боже! Огромные. Пальцы желтые, с расплющенными, почти черными ногтями, этими руками рвать что-нибудь очень крепкое, ломать что-нибудь прочное, тащить что-нибудь очень тяжелое... Вот он проделал пальцами какие-то замысловатые движения, словно хотел освободиться от страшных изломанных, изцарапанных ногтей, занес пальцы над клавиатурой, и мне стало страшно. Представилось, что сейчас он начнет вырывать клавиши горстями и швырять их во все стороны, а инструмент закричит от боли каким-то особым музыкальным криком, которого я не вынесу. Не в силах смотреть на эти руки, я взглянул на лицо и еще более ужаснулся. Рыжие брови от висков спустились к переносице и почти сомкнулись-схлестнулись в странной ярости, эта ярость была и в напрягшихся скулах, и в гримасе перекосившегося рта, и в глазах... В глаза вообще лучше не смотреть...

Пальцы упали на клавиатуру, я моргнул и тут же был оглушен аккордом, который отзвучав, вдруг рассыпался на каскад звуков, а звуки эти были музыкой! Настоящей музыкой! Самой великой музыкой! Страшные, грязные пальцы носились по клавишам, словно они не сотворяли музыку, а гонялись за ней, чтобы удушить, задавить, захлестнуть, но она, музыка, прорывалась между пальцев и утверждалась вокруг них, вокруг меня и до самого неба. Свершалось чудо. Но что-то в этом чуде было зловещее... Рядом стояли грузчики, и лица их были мрачны, и какой-то пожилой мужчина подошел и встал рядом, и сквозь очки грустно смотрел на исполнителя, именно смотрел на него, а не слушал музыку... Музыка была мне незнакома.

Она оборвалась на низкой ноте, словно выдохлась или задохнулась, или... внезапно умерла. Я смотрел на пальцы, будто бы и лежавшие на клавишах, и в то же время словно и не касавшиеся их, и было непонятно, то ли эти громадные и тяжелые руки стали невесомыми, то ли клавиши, превратившись в металл, утратили способность прогибаться.

Заметив мой взгляд, он спросил тихо: «Ну, что, неправильно?» Я не понял. «Такие руки и музыка...» И он протянул ко мне свои колдовские, я уверен был — колдовские, волшебные, злым волшебником заговоренные руки. Я вспомнил сказку «Аленький цветочек» и чудище, говорящее добрым человеческим языком, творящее добрые дела и жаждущее любви чистого сердца. Я понял, что передо мной — заговоренный Злой и подлый колдун превратил этого человека в то, что он есть с виду, изуродовал ему руки, но с душой его он не справился. Не справился!

Может, нужно было мне тогда броситься к нему и целовать эти ужасные руки, прижать их к своему лицу и говорить хорошие и добрые слова! Не устояло бы колдовство! Но я уже не верил в сказки и потому ничего такого не сделал и ничего не сказал из того, что можно было бы сказать, и, наверное, надо было сказать. Помню лишь, что про себя повторял одно: «Неправильно! Неправильно!» И все вокруг — они ничего не сказали, но их хмурые лица тоже повторяли: «Неправильно!» И каждый, возможно, думал о своем.

Но через несколько лет я услышал снова эту музыку. Проходя коридором Иркутского университета всего лишь за неделю до того, как его преждевременно покинуть, я замер у закрытой двери актового зала. Там, за дверью, находился тот питерский грузчик, и играл он ту самую музыку... Я распахнул дверь... Играл мой однокурсник. Я его хорошо знал. Знал, что он давно и серьезно занимается музыкой. Он кивнул мне и продолжал играть.

«Что это?» — спросил я не своим голосом, когда он кончил.

«Фортепьянная пьеса из «Моцарта и Сальери», — отвечал он и рассмеялся. — Вижу, что зацепила! Вот подожди, отработаю, тогда еще не так проникнешься!»

Я шел набережной Ангары и в ритм шагов повторял, как заведенный: «Неправильно! Неправильно!»

Шел тысяча девятьсот пятьдесят шестой год, и все в моей жизни еще только начиналось.

«ДЕТИ АРБАТА ИЛИ ДЕТИ РОССИИ?»

В «Сибири» № 3 1989 г. был опубликован диалог писателя Б. Лапина и критика Н. Тендитник о массовой культуре в современной прозе. Публикуем наиболее содержательные из писем читателей, откликнувшихся на «Диалог».

Уважаемая редакция «Сибири»!

Спасибо, конечно, за диалог Б. Лапин — Н. Тендитник. Вопрос поставлен правильно: кто мы, дети Арбата — или дети России? Но почему же вы ведете речь только о литературе и журналах, разве не то же самое происходит в политике, в экономике страны, в каждом городе и селе, вплоть до Дворца Съездов? Сытые и самоуверенные «детки Арбата» нагло издеваются над голодным народом, чернят партию, безнаказанно глумятся над ее лучшими сыновьями, вплоть до трибуны Верховного Совета, да еще требуют (под видом народа) передать им власть! Это кому же им — «теневой экономике», а прямо говоря, мафии? Разве не об этом прежде всего надо говорить с читателями, товарищи из редакции?

И кстати, где вы раньше были, т. т. Лапин и Тендитник, когда тот же Гроссман объявил на весь мир СССР «антисемитским государством»? Это нас-то, где полпроцента еврейского населения страны занимает 20 процентов командных должностей в народном хозяйстве и культуре, как сказал Горбачев. Где же вы были, когда Войнович на всю страну поливал грязью Советскую Армию? Когда начали топтать нашу национальную святыню А. С. Пушкина в омерзительных писаниях А. Терца-Синявского? Когда поруганию отданы светлые имена русских патриотов, народных заступников В. Распутина, В. Астафьева, П. Проскурина, Ю. Бондарева, М. Алексеева, В. Белова? Поднимется ли когда наш народ на защиту своей чести, самого своего существования, которому грозят сегодня коварные «черные силы», все о них говорят и никто не берется приструнить, будто власть уже не в наших руках. Или так оно и есть?

Короче, продолжайте в том же духе, народу, в конце концов, нужна правда, но не правда Коротичей и Сахаровых, а ВСЯ ПРАВДА!!!

(Не думаю, что напечатаете мое письмо, не рискнете. Так хоть задумайтесь над тем, что происходит в стране!)

П. Прокопов,
Иркутск.

Уважаемая редакция журнала «Сибирь»!

Если бы вы знали, как же мне расхвалили ваш журнал «Сибирь», что это один из самых интересных и популярных журналов, мол, сибирские писатели пишут очень интересные вещи, чего не найдешь ни в каком другом. Я с радостью подписался на журнал «Сибирь». И что же? Получил уже три номера за этот год, прочитал, но стиль построения речи— как будто пишет все один человек... Ни одного рассказа, повести, чтобы начал читать — и, как говорится, неохота отрываться, «а что же дальше будет?» Вот как, например, пишет В. М. Шукшин,

ваш сибиряк,— да в каждом малюсеньком рассказе своя изюминка, читается интересно и охотно.

Вот в номере три есть такая критика Б. Лапина на роман «Дети Арбата», я лично прочитал эту критику с большим возмущением. Что хочу сказать? Миллионы читали этот роман, простые люди, которых не учили грамоте утонченной критики, читали с интересом и пониманием, а читается легко и доходчиво всеми, особенно теми, кто пережил те времена и получал ответы, заранее отпечатанные: «Сослан в дальние лагеря без права переписки»... Самое противное в этой критике, что Б. Лапин, как я смог понять, как бы оправдывает и выгораживает палача Сталина, а на Н. Рыбакова (так у автора письма.— Ред.) безжалостно льет ушат грязи. Да есть еще такой выродок бывший людоед Шеховцев, который уже 17—18 раз судился с писателем Адамовичем, заступается и одобряет все злодеяния Сталина. Такие прекраснейшие люди, как артист М. Ульянов, очень прекрасно написал о Рыбакове. Кому в какой мере доступны истинные материалы о злодеяниях Сталина, простому люду не знать, а книга «Дети Арбата» была доступна и понятна, и спасибо большое Рыбакову, что он сумел так написать. Он не имел в виду оскорбить Сибирь и сибиряков, ничего подобного! Ведь те сибиряки, которые там родились и выросли, они акклиматизировались и были вольными людьми, а на страшные рудники и в самые дикие места направляли осужденных, которые погибли от холода, голода и издевательств, так что и тут упрекать Рыбакова нельзя. Слишком лишнее хватил Б. Лапин!

Но все же я опять подписался на 1990 год на «Сибирь» и убедительно прошу печатать больше исторических вещей, связанных с Сибирью.

С уважением О. Ульянов,
г. Бердянск

Здравствуйте!

Спасибо вам за публикацию диалога Н. Тендитник и Б. Лапина. Надо, чтобы как можно больше людей прочитали его, он прояснит одурманенные мозги, развеет тьму «Огоньков».

Низкий поклон Н. С. Тендитник, мужественной и мудрой женщине! Я горда тем, что училась у нее. Это дало мне навсегда прекрасный литературный и нравственный ориентир. Она давным-давно сказала нам, что честь и совесть российской литературы В. Белов, Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, В. Распутин, В. Астафьев. Двадцать лет прошло, и время подтвердило это десятки раз. Ничего не изменилось. Но где, скажите мне, ее продолжатели, такие же мудрые педагоги? Университет пуст! Мы потеряем молодых, если таких людей, как Н. Тендитник, будет мало.

Каждая строка диалога отвечает моим мыслям. Сразу после прочтения «Детей Арбата», «Жизни и судьбы», «Доктора Живаго» я почувствовала чисто интуитивно то же, что вы так точно выразили. Это не литература.

Да почему же мы боимся защищать себя, свою нацию, когда в нас откровенно плюют? Почему недостатки русских клеймят, а люди еврейской национальности критике не подлежат — как же, сразу «черносотенцы!», «антисемиты!» Конечно, и эта нация достойна уважения, среди евреев много прекрасных, талантливых, честных людей. Но ведь есть в чем их и упрекнуть: любовь к легкому труду (их нет у станков и на пашнях), ловкачество, корыстолюбие. Отчего же об этом не говорить? Среди пишущих на две трети они, и далеко не все талантливы, просто пробивные. Почему они все меняют свои родные фамилии? С какой целью это делается? Стесняться своей нации, по-моему, непорядочно... И, наконец, почему во времена гласности эти проблемы нельзя обсуждать — миролюбиво, уважительно и аргументированно, без оскорблений?

Больно за русских. Пора уже кричать об этой боли! Вон, даже в Эстонии, оказывается, тяжелым трудом заняты в основном русские. Западный рай там хотят построить путем эксплуатации русских рабов. Когда человек лишен всех прав, как там русские,— это раб, а не человек. А весь этот хаос и ненависть к русским посеяли вот эти самые

писаки-«перестройщики», идущие железной стеной, говорящие одни и те же штампованные фразы, все эти евтушенки, приставкины, «ивановы», рыбаковы, карякины, коротичи, баклановы! Да еще этих «несчастных» диссидентов, «выгнанных» за жирным куском на Запад, призвали в свои ряды, сделали из них героев... Опусы Войновича, вирши Галича, «Жизнь и судьба» Гроссмана ничего, кроме вреда, не принесут народу. Это фальшивый роман — столько в нем ненависти к украинцам и русским!

Продолжайте такие публикации, как «Диалог», идите в народ, говорите правду людям, любящим свою Родину и народ, тем, кто не позволит глумиться надо всем русским!

Всего доброго!
Т. Мальцева

P. S. А. Дм. Сергеева и <...> В. Захарову и прочих, подстраивающихся под «апрельских» приставкиных и коротичей, я не уважаю, они чутко держат нос по ветру, где выгодно, там и они. Да и кто их читает-то, господи! Читали и читать будем В. Распутина, В. Сидоренко, Н. Тендитник, А. Байбородина. Тут и талант, и чистая совесть, и боль за народ. Серость бы и слов не стоила, да ведь лезут же со своими дешевыми лозунгами, насквозь фальшивыми,— что с них возьмешь, с воспитанников «Огонька»! Они же уходить собирались из редколлегии «Сибири» — вот и шли бы себе...

Никто не хочет межнациональной розни и унижения каких-либо наций, но и русских пусть не унижают, раз нас, видите ли, много. Глумление над русским народом и его памятью надо остановить во что бы то ни стало! И хорошо бы, чтобы наш альманах делал это настойчиво и во весь голос. Хватит уже исторические трупы рассматривать под микроскопом. Не в чем нам каяться, пусть это Коротич делает — ему при всех режимах сладко жилось,— но далеко не так жилось нашим честно работавшим и честно воевавшим за Родину отцам. Вина их только в долготерпении.

Очень уважаю вас и верю, что победят справедливость, честность и настоящая любовь к Родине.

Т. М.
<Иркутск>

Составители В. В. Козлов, М. И. Тугова
Художественный редактор А. Г. Мыклыгин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор В. М. Ермакова

Адреса редакции:
664000, Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Союз писателей, телефон 24-56-76.
672000, Чита, ул. Богомякова, 23. Союз писателей, телефон 3-45-78.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИБ № 1564.
Сдано в набор 21.11.89.
Подписано к печати 14.02.90.
НЕ 00555. Формат 70×90 1/16.
Усл. печ. л. 9,36.
Уч-изд. л. 12.07.
Усл. кр.-отт. 10,16. Тираж 12 000 экз.
Заказ 1781. Изд. 6357. Цена 70 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

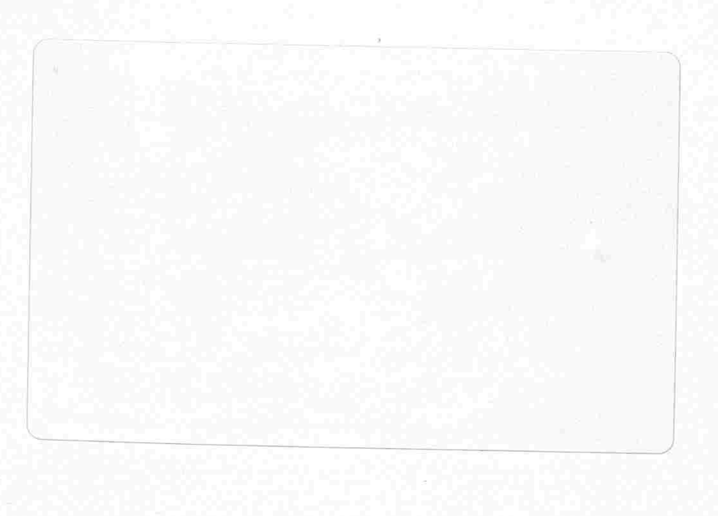
В 1990 ГОДУ АЛЬМАНАХ «СИБИРЬ» ОПУБЛИКУЕТ:

СТИХИ И ПРОЗУ
А. Зверева, А. Байбородина, Б. Лапина, М. Сергеева,
А. Горбунова, Г. Вихрова и других.

СТАТЬИ И ПИСЬМА
П. Флоренского, С. Булгакова, В. Розанова,
В. Соловьева.

Страницы из книги
«Убийство царской семьи» Н. А. Соколова.

Малоизвестные страницы
из истории гражданской войны в Сибири:
протокол допроса А. В. Колчака,
Дневник А. Н. Пепеляева.



0 к

СИБИРЬ

1 90

Читайте
в следующем номере:

Н. А. СОКОЛОВ.
Убийство царской семьи

Иркутская летопись

В. ХАЙРЮЗОВ.
Беда над тайгой